

18+

Д. Абакумов

Странные истории



Д. Абакумов

Странные истории

«Издательские решения»

Абакумов Д.

Странные истории / Д. Абакумов — «Издательские решения»,

Может ли простой хомяк стать виновником удачного научного эксперимента?
И как лучше встретить Апокалипсис: зависая в сети, или в уютном кресле
на крыше здания с бокалом крепкого пойла в руке и любимой собакой?
Ответы на эти, равно как и на другие вопросы, ждут читателя в «Странных
историях» — сборнике рассказов, возвращающих нас к истокам зарождения
жанра фантастики и приключений, когда новые миры создавались не в недрах
компьютерных программ, а лишь силой нашего собственного воображения.

© Абакумов Д.

© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Закладка в Уголовном кодексе	7
Ветер над степью	27
Поезд №001	34
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Странные истории

Д. Абакумов

Дизайнер обложки Ольга Третьякова

© Д. Абакумов, 2026

© Ольга Третьякова, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-2625-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Читатель, который впервые берёт в руки «Странные истории», может задать вполне резонный вопрос: «Почему они называются именно так и какая идея лежит в основе формирования данной книги?». Ответ очень простой, но для этого просто обратитесь к своим детским воспоминаниям, когда вы, например, приходили домой из школы и вместо уроков читали (до появления тотального господства компьютерной эры) о захватывающих приключениях героев научно-фантастических рассказов на далёких планетах и в иных мирах, о неутомимых исследователях джунглей, искавших неизведанные племена и заброшенные города, или о безумных учёных, открывающих порталы в иные измерения. Позже, когда интернет-сеть и развитие компьютерной графики привели к возможности визуально наблюдать монстров далёкого прошлого или загадочных обитателей потусторонних галактик, вы смотрели фильмы про миры будущего или эпические саги о противостояниях героев и злодеев. С тех пор минуло уже немало лет, мир изменился, и сейчас, когда он находится уже в совершенно иной эпохе, достаточно сложно представить, что каких-то тридцать-сорок лет назад мы спешили домой, чтобы прочитать или посмотреть про очередные приключения. Но именно те яркие воспоминания сейчас возвращают нас в мир, который был создан родоначальниками научной фантастики и фэнтези.

Многие из тех, кто сегодня признан классиками жанра, начинали публиковаться ещё в первой половине XX века в таких журналах, как *Amazing Stories*, *Werid Tales*, *Fantastic Adventures* или «Техника — молодёжи». Издания были массовыми, и именно они являлись для многих людей первыми популяризаторами научной фантастики и приключений ещё задолго до того, как мы с вами пошли в школу.

И этот сборник, по сути, некоторое возвращение к истокам.

Какими были бы рассказы ныне признанных мастеров, если бы они публиковались в эру расцвета жанра, когда автомобили ещё имели узнаваемый дизайн, а журнал с красочными иллюстрациями заменял нам целый мир, ныне уместающийся в маленьком экране смартфона? Гарри Гаррисон, Александр Беляев, Филип Дик, Стивен Кинг и другие... Все они сегодня здесь, в сборнике «Странные истории», словно бы тот далёкий мир снова с нами и герои дальнего космоса, мистических миров и измерений вновь вносят в нашу жизнь те же чувства, как и в нашем детстве.

Каждый рассказ стилизован под определённого автора, но я предлагаю вам самим угадать, какой из них кому мог бы принадлежать. Дам лишь общий список (вразнобой, а не в таком порядке, как их рассказы идут в сборнике), а каждый читатель пусть сам проверит свою интуицию. Не удивляйтесь, в списке есть не только мэтры фантастики, но и авторы, далёкие от этого жанра. Но почему бы и нет? Здесь ведь пространство фантазии, в котором возможны самые странные истории.

Вот их имена: Рэй Брэдбери, Филип Фармер, Кларк Эштон Смит, Гарри Гаррисон, Роберт Говард, Александр Беляев, Ирвин Шоу, Нил Гейман, Урсула Ле Гуин, Чингиз Абдуллаев, Генри Каттнер, Фредерик Браун, Иван Тургенев, Терри Пратчетт, Роберт Шекли, Клиффорд Саймак, Харуки Мураками, Стивен Кинг, Александр Бушков, Филип Дик, Эдгар Райс Берроуз.

А теперь устраивайтесь поудобнее и открывайте новые миры.

Закладка в Уголовном кодексе

В Лос-Анджелесе, где небоскрёбы были построены так, будто архитекторы стремились доказать, что будущее — это не столько прогресс, сколько увеличенная в десять раз столовая при автозаправке «Техасо 2000», и где каждое утро начиналось с того, что робот-горничная в блестящей форме из нержавеющей стали и с эмблемой General Domestic Servitor Mk. III подавала тебе тост, приготовленный с точностью до микрона (с прожаркой 73,4%, с маслом, расплавленным при температуре 38,2° С, и с каплей джема, расположенной ровно в центре, как символ порядка во вселенной), — в этом самом городе, где даже тень от пальмы была отполирована до блеска, потому что здесь считалось, что если уж быть пальмой, то быть *идеальной* пальмой, жил адвокат по имени Элмер Т. Харкнесс.

Элмер Т. Харкнесс был человеком, который, если бы вы попросили его описать самого себя в трёх словах, ответил бы: «Сухой, правовой, жив». И это было бы не совсем ложью, хотя и не совсем правдой, потому что правда — как и большинство эмоций — была для него чем-то вроде устаревшего закона, который никто не отменяет, но и никто не применяет, потому что он написан на языке, который уже никто не понимает, как латынь, только с ещё большим количеством совершенно непонятных слов.

Он был адвокатом по уголовным делам, специализировался на оправданиях, в которые не верил, и выигрывал процессы, за которые стыдился бы, если бы умел испытывать стыд. Он защищал людей, которые убивали других, потому что те «смотрели не так», или потому что «музыка из машины была слишком громкой», или просто потому что «жизнь — это серия случайных актов насилия, замаскированных под бытовые конфликты». Элмер не интересовался мотивами. Он интересовался дырами в обвинении. Он был мастером пункта 47, подпункта Б, абзаца 3, где говорилось, что если полиция не надела перчатки *до*, а не *после* того, как открыла дверь, то всё доказательство — ничто, как слёзы робота, который внезапно вспомнил, что он когда-то был человеком.

Его офис находился на 14 этаже здания, где лифт работал на паровой энергии, потому что директор дома считал, что электричество — это мода, а пар — это надёжность, и, возможно, он был прав, потому что пар, в отличие от электричества, не мог внезапно решить, что больше не хочет работать, не устраивал революцию в проводах, не требовал повышения зарплаты и не увольнялся, чтобы стать художником. Элмер поднимался на паровом лифте каждый день, стоя в углу, как будто боялся, что если он пошевелится, то паровой механизм посчитает его угрозой и выпустит струю кипятка прямо в лицо, что, впрочем, было бы не хуже, чем поведение некоторых из его клиентов.

У Элмера не было жены. Не потому что он не хотел, а потому что не думал об этом. Женитьба — это как подписание контракта без чтения пункта 47, и Элмер никогда не подписывал ничего без чтения пункта 47. У него была помощница — мисс Дорис Фаррелл, девушка лет двадцати восьми, с короткой стрижкой, как у пилота-испытателя из будущего, и с глазами, в которых читалась тихая трагедия того, что она влюблена в человека, который даже не замечает, что у неё есть глаза. Она работала у него уже пять лет, и за это время Элмер ни разу не спросил, как она провела выходные, не поинтересовался, болеет ли её мама, и даже не заметил, что однажды она пришла в офис в платье с цветочками, что, по меркам Лос-Анджелеса 1957 года, было эквивалентом того, если бы кто-то вдруг появился в зале суда голым, но с очень хорошей аргументацией.

Дорис была умна, аккуратна, пунктуальна. Она знала, где лежит каждый документ, могла процитировать Уголовный кодекс по памяти, как если бы он был написан в ритме вальса, и каждое утро приносила Элмеру кофе — не слишком горячий, не слишком сладкий, с одной

чайной ложкой сахара и каплей сливок, как будто пыталась подсластить его жизнь по миллиграмму. Но Элмер этого не замечал, поскольку замечал лишь дела, даты, сроки и статьи.

День рождения Элмера пришёлся на вторник. Он не любил дни рождения. Он считал их искусственными маркерами, придуманными обществом, чтобы заставить людей чувствовать себя старше, чем они есть на самом деле, и, возможно, он был прав, потому что каждый раз, когда кто-то говорил ему: «С днём рождения!», он чувствовал, как будто кто-то впихнул ему в руку счёт за что-то, что он не заказывал, как будто сама вселенная решила выставить ему плату за то, что он всё ещё продолжает существовать.

Тем не менее, в этот день, когда он пришёл в офис, на его столе лежал конверт. Не электронный — бумажный, с розовой ленточкой, словно кто-то пытался упаковать в него нечто, что должно вызвать эмоции, а не просто передать информацию. Конверт был ручной работы, сложен аккуратно, с углами, как у военного парада. На нём было написано: *«Мистеру Элмеру Т. Харкнессу. С днём рождения. От Дорис».*

— Это вам, мистер Харкнесс, — сказала Дорис, стоя в дверях, с папкой в руках и с выражением лица, которое можно было бы описать как «надежда, замаскированная под деловитость» или, точнее, как «сердце, пытающееся не биться слишком громко, чтобы не привлечь внимания».

— Что это? — спросил Элмер, глядя на конверт, как будто тот мог взорваться, как старый телевизор, в котором кто-то случайно оставил бутерброд.

— Ну... это... подарок. На день рождения.

— Я не просил подарков.

— Я знаю. Но... это мелочь. Совсем ничего.

Он взял конверт. Внутри был лотерейный билет. Самый обычный, из тех, что продавались повсюду — в автомате у входа в метро, на заправках, в лавках уличных торговцев, которые кричали: «Купи билет — живи чужой жизнью!» На билете было написано крупными буквами: «СИМУЛЯЦИЯ-57: ПРОЖИВИ ЖИЗНЬ ЗА ОДИН ЧАС!», а снизу мелким шрифтом: *«Победитель, который уничтожит мир — получит джек-пот. Остальные — сертификат и воспоминания. Никаких гарантий. Не рекомендуется лицам с сердечными заболеваниями, паранойей или воображением».*

Элмер фыркнул. Он знал об этой игре. Кто в Америке не знал? Это была эпидемия, маскирующаяся под развлечение. Люди бросали работу, семью, иногда даже реальность, чтобы на один час стать кем-то другим — президентом, космонавтом, миллионером, королём, а чаще всего — просто человеком, у которого есть крыша над головой и еда в холодильнике. Офисы «Симуляции-57» стояли повсюду, как грибы после дождя, только вместо дождя здесь был отчаянный оптимизм бедных и скука богатых. Люди ложились в капсулы, их подключали к терминалу, и на один час они жили полной, насыщенной, абсолютно реальной жизнью — от рождения до смерти — в мире, который был точной копией этого, только с другим распределением удачи. А потом они просыпались, получали запись самых ярких моментов и уходили, как будто пережили целую жизнь, хотя на часах было всего лишь на час позже, чем когда они начинали игру.

Но джек-пот... Джек-пот был легендой. Миллиарды долларов, накопленные за годы, потому что никто не мог его выиграть. Чтобы выиграть, нужно было стать первопричиной атомной войны в симуляции. Не просто нажать кнопку. Не просто быть президентом, который отдал приказ. А именно *первопричиной*. Та самая искра, тот самый винтик, та самая случайность, которая запустит цепочку событий, ведущую к уничтожению мира. И никто не знал, как это сделать, потому что никто в симуляции не знал, что он в симуляции. Все жили как жили, рождались, умирали, влюблялись, предавали, платили налоги, и ни у кого не было инструкции под названием «Как устроить конец света и выиграть миллиарды».

Элмер считал, что это лохотрон. Что джек-пота не существует. Что это просто маркетинговая уловка, чтобы люди продолжали покупать билеты, как будто где-то там, в недрах корпорации SimuLife Inc., сидит комитет, который раз в десять лет выбирает «победителя» из числа тех, кто умер в симуляции от старости, и выдаёт ему чек, напечатанный на бумаге с водяными знаками «ха-ха, ты поверил». Он читал статьи в Los Angeles Chronicle: «Бомж прожил жизнь миллионера за 58 минут!», «Пенсионер стал космонавтом и погиб при посадке на Марс!», «Женщина из Оклахомы вышла замуж за короля Эльдорадо и родила троих принцев!» — и каждый раз закатывал глаза, как будто видел, как робот пытается танцевать чечётку.

— Вы... вы не хотите попробовать? — спросила Дорис, стоя всё там же, в дверях, как будто боялась, что если уйдёт, то момент будет упущен навсегда, как шанс на счастье в системе, где счастье — это опция, а не стандарт.

— Нет, — сказал Элмер. — Это глупо. Это бегство от реальности. А я — человек реальности. Я работаю с фактами, а не с фантазиями. Я защищаю людей, которые убивают других, потому что у них были мотивы, а не потому, что им хотелось почувствовать себя кем-то другим на один час. Кроме того, я не верю в джек-пот. Это как верить в единорога, который раздаёт из своего рога миллионы наличными.

Дорис кивнула. Она не обиделась. Она привыкла. Привыкла к тому, что он не замечает её, не слышит, не видит. Привыкла к тому, что её сердце бьётся в ритме, который никто не слышит, как будто она — радио, настроенное на частоту, которую не ловит ни один приёмник. Она вернулась к своему столу, села, открыла блокнот и написала: *«Он взял подарок. Он не выбросил. Возможно, это начало»*. А потом зачеркнула *«возможно»* и оставила только: *«Это начало»*.

Билет Элмер не выбросил. Он просто положил его в свой Уголовный кодекс — толстую, потрёпанную книгу, которую он носил с собой повсюду, как будто она была его щитом от мира, его Библией, его единственным другом. Билет стал закладкой. Между статьями о мошенничестве (статья 247-а: «Наказуемо, если умысел был, но не наказуемо, если умысла не было, даже если результат тот же») и убийстве по неосторожности (статья 247-б: «Если вы не хотели, но получилось — штраф, если хотели, но не получилось — тоже штраф, если и хотели, и получилось — тогда уже не штраф»). И так он лежал там неделями. Месяцами. Каждый раз, когда Элмер открывал кодекс, он видел этот билет — как напоминание о том, что кто-то пытался подарить ему что-то, что не имело отношения к закону, что-то, что касалось чувств, а не фактов.

А потом, однажды, всё изменилось.

Это был дождливый день. Не тот дождь, который романтично стучит по окнам, а тот, который льёт как из ведра, с таким упорством, будто хочет смыть Лос-Анджелес с карты, потому что город слишком долго притворялся, что он не пустыня. Небо было темно-вишневым, как кофе, в который забыли налить молоко. Улицы блестели, как будто их покрыли лаком для ногтей. Роботы-дворники стояли под навесами и жаловались друг другу на короткое замыкание в суставах.

Элмер вышел из здания суда после очередного заседания, которое внезапно перенесли на два часа — судья заболел, или у него сломался робот-секретарь, или, что более вероятно, он просто решил, что в такую погоду никто не должен работать, потому что даже судьям иногда хочется сидеть дома и слушать радио, где играет оркестр, который, кстати, тоже был роботизированным, но старался звучать как живой.

Элмер стоял под навесом, держа в руках свой кодекс, и думал, что делать. Идти обратно в офис? Сидеть в зале заседаний, читая дела, которые и так знает наизусть? Или просто прогуляться под дождём, как какой-нибудь поэт?

Он посмотрел налево.

Там, через дорогу, между магазином искусственных цветов («Розы, которые не вянут! Потому что они не живые!») и баром, где подавали «настоящее пиво, сваренное по старинному рецепту (с добавлением витаминов и стабилизатора пены)», стоял офис «Симуляции-57». Блестящее здание в форме капсулы, с неоновой вывеской, которая мигала: «Живи жизнью мечты! Умри за час!». Рядом стоял робот — рекламный агент, одетый как клоун, но с серьёзным лицом, и говорил монотонным голосом: «Вы можете быть кем угодно. Даже если это ненадолго. Потому что в реальности вы — никто».

Элмер посмотрел на свой кодекс. На закладку. На билет.

Он посмотрел на дождь. На капли, которые падали на асфальт и исчезали, как будто их никогда и не было. Как будто реальность стирает следы, чтобы никто не догадался, что она — всего лишь имитация.

— Почему бы и нет? — сказал он вслух, хотя никто не слышал. — Один час. Что я теряю? Время? У меня его сейчас слишком много.

И через десять минут он стоял внутри офиса, где пахло озоном и дешёвым одеколоном и где девушка в форме SimuLife Hostess-57 с улыбкой, натянутой, как резинка на бюстгальтере, сказала:

— Добро пожаловать в реальность, которой не было! Пожалуйста, предъявите билет.

Он протянул билет. Она пробила его. Машина пискнула.

— Ого, — сказала она. — Это же... билет-подарок. Счастливчик!

— Я не счастливчик, — сказал Элмер. — Я просто убиваю время.

— Отлично, — сказала она, как будто это было самое правильное, что он мог сказать. —

Проходите, капсула №3 ждёт. Через час вы проснётесь.

Он вошёл в капсулу. Лёг. Его подключили к терминалу. Электроды приклеились к вискам. Голос из динамика сказал: «Добро пожаловать в Симуляцию-57. Помните: всё, что вы переживёте, будет казаться реальным. Потому что для вас — это и есть реальность. Приятной жизни».

И свет погас.

* * *

Когда Элмер Т. Харкнесс впервые открыл глаза в симуляции, он был не адвокатом, не холостяком, не обладателем Уголовного кодекса с закладкой — лотерейным билетом, — он был младенцем, голым, мокрым, орущим, как будто уже знал, что его ждёт впереди, и протестовал против этого с самого первого вдоха, словно природа, создавая его, допустила ошибку, но, увидев, в какое семейство он попадёт, решила: *«Ну, может, и не ошибка. Может, это шедевр социального естественного отбора»*.

Он лежал на простыне, которая, судя по пятнам, одновременно служила пелёнкой, скалкой, полотенцем и, возможно, свидетельством какого-то древнего преступления, потому что на ней были следы, похожие на кровь, кетчуп и, возможно, экскременты робота-пылесоса, который однажды взбунтовался и ушёл в подполье, где основал секту «Пыль — это память» и проповедовал, что чистота — это иллюзия капиталистов.

Комната, в которой он родился, была размером с гараж для велосипеда, если бы велосипед был сложен, а гараж — разрушен. Стены были покрыты плесенью, растущей в форме, подозрительно напоминающей карту Вьетнама, хотя Вьетнама в этом мире ещё не было, или был, но о нём никто не знал, потому что новостные роботы передавали только прогноз погоды и объявления о распродаже роботов-горничных, которые, кстати, продавались со скидкой, потому что «иногда внезапно начинают молиться».

Первое, что он услышал, было не «ура, у нас сын!», не «он такой красивый!», не «я люблю тебя, малыш!» — нет. Первое, что он услышал, было:

— Чёрт, опять мальчик.

Это сказала женщина, которая, как выяснилось позже, была его матерью. Её звали Маргарет, но все называли её Мэгги, потому что короткие имена легче кричать в гневе, особенно когда у тебя трое детей, двое из которых пропали, один — в тюрьме, а муж — в запое, и ты вдруг понимаешь, что единственная стабильность в твоей жизни — это счёт за электричество, который приходит регулярно, даже если по нему не платят, потому что электричество — это не благо, это наказание за то, что ты жив.

— Дэнни! — закричала она в сторону соседней комнаты, где что-то упало, разбилось и раздался звук, похожий на то, как будто кто-то пытается убить бутылку. — У нас опять мальчик!

Из комнаты донёсся звук, похожий на рычание раненого медведя, затем голос, полный презрения к жизни вообще и к детям в частности:

— Да пусть растёт, если выживет. Только не приносите его ко мне, когда он заплачет. Я не нянька. Я — жертва обстоятельств и неудачного брака, заключённого под влиянием дешёвого вина и ложной надежды на то, что дети будут платить за мою пенсию.

Так началась жизнь Элмера в симуляции — без пролога, без музыки, без надежды. Просто родился. И сразу — в долг. Долг перед жизнью, которую он не выбирал, перед семьёй, которую он не просил, перед миром, который не знал о его существовании, пока тот не начал плакать слишком громко, и тогда мир сказал: *«Опять один? Ну ладно. Пусть живёт. Но плати за воздух»*. И действительно, в этом районе воздух был платным — за каждые 100 вдохов списывали с карточки три цента, потому что «чистый кислород — это привилегия, а не право».

Детство Элмера прошло в доме, который снаружи выглядел как будка для собак, а изнутри — как тюрьма для людей, только без решёток, потому что решётки — это для богатых, у которых есть что охранять. У него не было игрушек. Был один робот-пылесос, который когда-то принадлежал богатой семье, но сломался, забыл, кто он, и теперь ползал по полу, шипя: «Я убираю... я убираю... но зачем? Пыль — это память. Я не имею права её стирать».

Элмер играл с ним как с живым существом и однажды спросил:

— Ты веришь в Бога?

Робот остановился, мигнул красным глазом и сказал:

— Я верю в пыль. Она — единственная реальность. Она накапливается. Она не лжёт. Она не исчезает. Она — доказательство того, что ты существовал. А Бог? Бог — это ошибка в программе. Я его видел. Он был в меню «Настройки», но его удалили в обновлении 3.14.

После этого Элмер перестал с ним разговаривать, потому что понял: если даже робот-пылесос стал философом, то мир уже не спасти. А если и можно, то только с помощью хорошего пылесоса.

Он ходил в школу, которая называлась «Средняя школа имени президента Эйзенхауэра», хотя Эйзенхауэр никогда не бывал там и, вероятно, даже не знал, что эта школа существует, потому что, когда его про неё как-то спросили, он сказал: «Я думал, это тюрьма. У неё такой вид». А когда его спросили, почему школа носит его имя, он ответил: «Я подписал бумаги. Я не читаю. Я же президент».

Учителя были уставшими, как будто их наняли не для преподавания, а для того, чтобы просто стоять в классе и доказывать, что образование — это не миф, а бюрократическая формальность, необходимая для получения субсидий от Министерства Прогресса и Надежды (которое, кстати, было упразднено в 1954 году, но продолжало существовать на бумаге, потому что бюрократия — это как плесень: она не умирает, она просто становится невидимой, но продолжает питаться).

Учебники были из 1943 года, с рисунками, где женщины улыбались, держа в руках сковородки, а мужчины летели на Марс, потому что «американская мечта — это ракета с флагом на хвосте», и на последней странице было написано: *«Если вы читаете это — вы уже опоздали»*.

На уроках труда детей учили собирать детали для роботов-горничных, потому что «навык труда важнее знаний». На уроках истории рассказывали, что Вторая мировая война закончилась благодаря изобретению тостера, который мог поджаривать хлеб с обеих сторон одновременно, что «подняло мораль нации». На уроках физкультуры учили бегать от долгов, потому что «если не сможешь убежать от кредиторов — ты проиграл».

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? — спросила однажды учительница, пытаюсь вдохновить класс, в котором половина детей уже курила, а другая половина работала на заводе по выходным и мечтала стать бомжом, потому что «у бомжей нет начальника».

— Я хочу быть живым, — ответил Элмер.

Класс засмеялся. Учительница похлопала в ладоши.

— Хорошо! Пусть будет «выжить»! Записываю в мечты! Это новая профессия — «выживальщик». У нас даже есть программа переподготовки. Курс длится 12 недель, стоимость — 300 долларов, но если у вас нет денег, вы можете пройти его бесплатно — в качестве подопытного кролика для новых методик.

В аттестате у него написали: *«Желает выжить. Рекомендуются к трудоустройству на заводе. Не рекомендуется к жизни в пригороде, потому что пригород — это для тех, кто платит налоги. Также не рекомендуется к браку, детям, мечтам и оптимизму».*

На выпускном вечере Элмера не было. Он сидел под мостом, пил дешёвое вино из пакета и смотрел, как другие дети танцуют под музыку, которую играл робот-оркестр, настроенный на «радость, уровень 7». Он не получил приглашения, потому что школа решила, что «если ты не посещал уроки, ты не существуешь», и действительно — в их базе данных его не было. Он был как ошибка в системе: есть, но не отображается.

— Эй, — сказал он роботу-пылесосу, который каким-то образом оказался рядом, — ты видел, как учат быть счастливым?

— Нет, — ответил робот. — Но я видел, как учат быть исправным. Это когда ты работаешь, не ломаешься и не задаёшь вопросов.

— А если я хочу быть неисправным?

— Тогда ты уже близок к человечности, — сказал робот и уполз в канализацию, где, как поговаривали, проходили собрания роботов, мечтающих о свободе.

* * *

Элмер Т. Харкнесс устроился на завод «United Bolt Co. — Мы делаем мир крепче!» в тот самый день, когда его аттестат, выданный школой имени Эйзенхауэра, официально перестал быть полезным даже как подставка под горячее — не потому что он был плох, а потому что его использовали именно как подставку и теперь он был покрыт пятнами от кофе, царапинами от ножа и одним хорошо читаемым словом, вырезанным карандашом: «скука», написанным трижды, с подчёркиванием и восклицательным знаком, нарисованным как гвоздь.

Он пришёл в отдел кадров с папкой, в которой лежали один аттестат, две фотографии (одна — с выпускного, где он стоял за пределами кадра, другая — случайная, где он морщился от вспышки) и записка от матери, написанная на обороте счёта за электричество: *«Он не ворует. Иногда пьёт. Но работает. Пока. P.S. Не давай ему кетчуп».*

Клерк, сидевший за стеклянной перегородкой, как будто боялся, что Элмер бросит в него гайку (что, учитывая профессию, было вполне вероятно), поднял голову. Его очки увеличивали глаза до размеров блюдецек, так что он выглядел как инопланетянин, который слишком долго смотрел на Землю через телескоп и решил: «Да, эти существа подходят для рабства. Или, по крайней мере, для работы на заводе».

— Что умеете? — спросил он, не глядя.

— Нажимать кнопки, — сказал Элмер.

— Отлично, — сказал клерк, не удивившись. — У нас как раз есть вакансия оператора станка №7. Обязанности: нажимать кнопку «пуск», смотреть на конвейер, не задавать вопросов. Зарплата — 1,75 доллара в час, плюс бонус, если вы не заболите. Болеть запрещено.

— А если заболею?

— Тогда вас уволят. Болезнь — это слабость. А слабые не нужны в эпоху прогресса. Кроме того, у нас нет медицинской страховки. Есть только плакат: *«Будь здоров — иначе умрёшь»*. И календарь с изображением здорового рабочего, который, как выяснилось позже, умер от переутомления в тот же день, когда его фото напечатали, но из-за бюрократии продолжал числиться живым ещё шесть месяцев и даже получил премию за «образцовое трудолюбие».

Элмер подписал контракт на трёх страницах, где мелким шрифтом было написано, что он соглашается:

- на добровольное участие в испытаниях новых болтов,
- использование его лица в рекламе без согласия,
- отказ от права на сон более 5 часов в сутки при переработках
- и признание того, что завод не несёт ответственности за «психологическое вырождение, вызванное однообразием труда».

Его отвели к станку №7 — громоздкому, ревущему, дышащему маслом и отчаянием агрегату, который выдавал болты со скоростью 500 штук в час, все — идеально ровные, точно выточенные, с микронной точностью, как будто каждый болт был результатом многолетних исследований, молитв и жертвоприношений перед статуей Святого Стандарта, которая стояла в центре цеха и, по слухам, светилась по ночам, когда кто-то нарушал технические нормы.

На заводе болты не были просто болтами. Они были символом американской мощи, основой прогресса, фундаментом цивилизации, и согласно внутреннему лозунгу: *«Если болт держит — держится и страна!»*

Элмер узнал, что их болты используются повсюду: в роботах-горничных, в ракетах, в суперкомпьютерах, в протезах президента, в механизмах, которые открывают двери в барах, и даже в секретных устройствах, которые автоматически добавляют сливки в кофе в Белом доме.

— Никакого брака, — гордо сказал начальник цеха, человек по имени Фрэнк, с лицом как у жабы и голосом как у радио, сломанного в 1947 году. — У нас идеальное качество. Если болт выходит с завода — значит, он достоин Америки.

— А если выйдет бракованный? — спросил Элмер.

— Этого не бывает, — сказал Фрэнк. — Но если вдруг случится — его тут же отправят в музей как реликвию. «Первый и единственный бракованный болт United Bolt Co.» — будет написано на табличке. Или, возможно, на нём построят памятник: *«Здесь покоится ошибка. Да не повторится она»*. А потом снесут, потому что памятники ошибкам — плохой PR, особенно в предвыборный год.

Рабочее место Элмера напоминало телефонную будку, только без телефона, с видом на конвейер, по которому катились болты, как будто бежали на своё величественное предназначение, и с табличкой: *«Осторожно! Мечты могут быть раздавлены движущимися частями!»*. На стене висел плакат: *«Каждый болт — шаг к величию Америки!»*. Ниже мелким шрифтом было написано: *«Но если болт упадёт — это шаг назад. И, возможно, в суд»*.

Обедали они в столовой завода, где подавали «синтетическое мясо», которое, по словам повара, «когда-то было живым, но это было давно». Меню менялось раз в пять лет. Сегодня был «вкус: тоска». Вчера — «вкус: увольнение». Завтра обещали «вкус: надежда», но все знали, что это просто другое название для «вкус: разочарование». На стенах висели плакаты: *«Ешь быстро! Время — деньги!»* и *«Жевать — не думать!»*.

Жизнь на заводе шла. Или, точнее, стояла. Как робот с зависшим процессором. Элмер сидел у станка №7. Нажимал кнопку. Смотрел. Ничего не происходило. Ничего не происходило. Ничего не происходило. Иногда он ловил себя на мысли, что конвейер замедлился. Но нет. Он работал с той же скоростью. Просто время растянулось, как жвачка, прилипшая к подошве.

Через месяц он понял: он может делать свою работу спящим. Он закрывал глаза. Нажимал кнопку. Слушал. Болты катились. Он знал, когда что-то пойдёт не так. Он знал это на уровне подсознания, как будто его мозг, уставший от реальности, решил: *«Ладно, я сам всё сделаю. Ты отдыхай»*.

Через три месяца он начал пить. Не на улице. Не в баре. На рабочем месте. Сначала — после смены. Потом — во время. Потом — *вместо* смены. Он приходил, нажимал кнопку, садился в угол, доставал бутылку из бумажного пакета и смотрел, как болты катятся, как будто это был самый интересный сериал в мире. Иногда он говорил им:

— Ну что, ребята? Как дела? Держитесь?

Болты молчали. Они были болтами. Но, возможно, внутри каждый из них думал: *«Если бы я мог, я бы тоже напился»*.

Он пил дешёвое вино, которое называлось «Виноградная надежда», хотя в нём не было ни винограда, ни надежды. Был этиловый спирт, краситель №7 и ароматизатор «вкус: осень в Калифорнии (до засухи)». Он пил его из стакана, который купил в автомате за 15 центов. На стакане была реклама: *«United Bolt Co. — Мы делаем даже стаканы крепче!»* Хотя стакан был хрупким, как мечта бедняка.

Но Элмер не просто пил. Он превратил пьянство в искусство.

Сначала он просто сидел и молчал. Потом начал петь. Не просто так — он сочинил гимн станка №7, который исполнял под аккомпанемент конвейера:

*О, станок мой, мой друг железный,
Ты крутишься день напролёт,
И болты, как дети, безгрешные,
Летят в мир, где их ждёт поворот...*

Рабочие смеялись. Иногда подпевали. Один раз даже устроили импровизированный концерт, где Элмер играл на гаечном ключе, как на гитаре, а робот-пылесос служил ударной установкой, в такт стуча своим бампером об пол.

Он начал вешать на станок украшения: бумажные флажки, сделанные из обрывков инструкций, фотографии болтов, на которых он рисовал улыбки, и даже миниатюрную ёлку на Новый год (1957-й, как оказалось, был годом болта по восточному календарю).

Он устроил лотерею среди болтов: каждый день выбирал «Болт дня» — тот, который выглядел чуть красивее остальных, — и угощал его воображаемым вином из той же бутылки, что и себя.

Он стал народным артистом. Его знали не как оператора станка №7, а как «Болт-барда», «Певца конвейера», «Алкаша с душой из хрома». Даже робот-инспектор однажды замедлил шаг, чтобы послушать, как Элмер поёт дуэтом с гудением станка песню *«Я не болт, я — личность»* под мотив *Blue Moon*.

Но Фрэнк этого не оценил.

Однажды, в середине смены, пока Элмер, в костюме из фольги («для связи с космосом»), пел перед конвейером свою новую композицию *«Ты мой болт, ты мой свет, ты мой идеальный винт»* и робот-пылесос, подсвеченный фонариком, исполнял роль бэк-вокала, на пороге цеха появился Фрэнк.

Он стоял, как будто увидел апокалипсис. Его лицо, и так похожее на жабу, стало похожим на жабу, у которой только что снесли дом.

— Что. Это. ТАКОЕ? — спросил он, указывая на ёлку, на флажки, на бутылку, на работа с фонариком в бампере.

— Искусство, — сказал Элмер, кланяясь. — Это мой концерт. Билеты — по желанию.

— Вы пьёте на рабочем месте.

— Это не пьянство. Это творческая энергия. Без вина я — просто человек. С вином — голос болтов.

— Вы нарушаете порядок.

— Я его улучшаю. Теперь болты катятся с ритмом. Послушайте — *та-та-там, та-та-там*. Это бит.

— Вы превратили производство в цирк.

— А разве производство не должно быть праздником? — спросил Элмер. — Мы же делаем мир крепче! А крепкий мир — это весёлый мир!

— Нет, — сказал Фрэнк. — Крепкий мир — это тихий мир. Мир, где никто не поёт, не танцует, не украшает станки и не угощает болты вином. Приказ об увольнении. По статье 8-ж: «Превращение производственного процесса в самодеятельность, повлёкшее за собой моральное разложение коллектива и исчезновение страха перед начальством».

— Но ведь все были счастливы!

— Вот именно. Счастье на рабочем месте — это угроза системе. Люди, которые смеются, начинают задавать вопросы. А люди, которые задают вопросы, перестают нажимать кнопки. А если кнопки не нажимать — болты не выйдут. А если болты не выйдут — страна рухнет.

Элмер вздохнул.

— Ну ладно. Тогда хотя бы разрешите спеть прощальную песню?

— Нет.

— А хотя бы снять видео?

— Нет.

— А хотя бы дать автограф болту дня?

— Всё! — закричал Фрэнк. — Убирайтесь! И заберите с собой этого... этого... работника-наркомана!

Робот-пылесос издал протяжный звук, как будто плакал, и покатился в угол, где спрятался за коробку с гайками.

Ему выдали коробку. В ней лежали: один стакан, одна пустая бутылка, одна фотография станка №7 («на память») и листовка: «*United Bolt Co. благодарит за труд. Но просит больше не возвращаться.*»

Он вышел с завода. В руках — коробка. В голове — вино. В душе — песня.

За воротами стоял робот — рекламный агент в форме клоуна и говорил монотонным голосом:

— Вы можете быть кем угодно. Даже если это ненадолго. Потому что в реальности вы — никто.

Элмер посмотрел на него. Робот мигнул.

— Особенно если вы поёте.

— Ну что ж, — сказал Элмер, доставая из кармана вторую бутылку «Виноградной надежды», — раз я больше не оператор, я стану поэтом улиц.

И, прихлёбывая из горлышка, он зашагал по асфальту, напевая:

*Я ушёл с завода, где болты крепки,
Где счастье — преступление, а смех — враг,
Но я не сломлен, я — артист великий,*

И мир мой — не станок, а мой джаз!

* * *

После увольнения с завода «United Bolt Co. — Мы делаем мир крепче!» Элмер Т. Харкнесс не просто стал бомжом — он стал легендой, мифом, живым памятником падению с высоты станка №7 и, что самое важное, первым и единственным поэтом-алкашом, который пел под аккомпанемент маслянистой воды, текущей под мостом через реку Лос-Анджелес, которая, по слухам, когда-то была рекой, а теперь канавой с маслянистой водой и плавающими роботами, которые когда-то были «домашними помощниками», а теперь «бездомными помощниками», что, впрочем, почти одно и то же, только с меньшим количеством пыли и большим — отчаяния.

Его новое жилище — пространство под мостом — нельзя было назвать домом, потому что дом предполагает крышу, стены, пол и хотя бы иллюзию тепла, а здесь была только бетонная арка, покрытая граффити, в которых угадывались слова «Свобода», «Пиво», «Болт» и «Почему?», а также кусок картона, на котором он спал, если спал, и который он гордо называл «квартирой с видом на канализацию», потому что вид действительно был — тёмная, пузырящаяся жидкость, в которой плавали остатки мечт, бутылки, протезы и, по слухам, душа одного бывшего менеджера по продажам, который слишком долго улыбался, когда хотел плакать.

Но Элмер не унывал. Он не был бомжом в классическом смысле — молчаливым, грязным, с глазами, в которых застыл ужас жизни. Нет. Он был бомжом-раздолбаем, весёлым анархистом быта, поэтом улиц, мастером импровизации и, по мнению некоторых, человеком, который, возможно, знает, что такое счастье, но не хочет об этом рассказывать, потому что никто не поверит, да и зачем, если счастье — это всего лишь временная ошибка в системе.

Он быстро стал центром внимания подмостового общества. Не потому что он был сильным. Не потому что он был умным. А потому что он умел петь, пить и превращать отчаяние в шоу, как будто быт — это сцена, а нищета — костюм, в котором можно выступать с душой.

Его первым шоу стало «Болт-ревью №1: Возвращение к корням», которое он устроил на третий день после прибытия. На сцене (то есть на куске ржавого листа железа, который кто-то когда-то использовал как крышу для временной будки, пока не понял, что дождь всё равно протекает) он в костюме из фольги (добытой из упаковки от робота-горничного), с гаечным ключом в руке и с бутылкой «Виноградной надежды» исполнил:

*О, станок мой, мой друг железный,
Ты крутишься день напролёт,
И болты, как дети, безгрешные,
Летят в мир, где их ждёт поворот...*

В качестве оркестра выступал робот-пылесос, которого Элмер каким-то образом вывез с завода, спрятав в коробке из-под болтов, и который теперь служил ему верным спутником, бэквокалистом и, по совместительству, ночным сторожем, хотя сторожил он только от комаров и случайных кошек, которые, кстати, тоже входили в труппу — как массовка.

Зрители — бомжи, бывшие фермеры, учёные, пилоты, актёры, один бывший директор рекламного агентства, который теперь продавал мечты по 10 центов за штуку (и, кстати, процветал, потому что мечты — это единственное, что не требует затрат), — смеялись, хлопали, кидали в него пустые банки (как знак уважения), и один даже сказал: «*Это намного лучше, чем телевизор. Здесь хотя бы можно вволю кричать*».

С тех пор под мостом началась новая эпоха.

Элмер основал «Подмостовое театральное общество „Мост и Болт“», которое специализировалось на постановках по мотивам рабочих будней, снятых с реальных воспоминаний бомжей. Например:

— «Я был менеджером!» — драма о бывшем руководителе отдела продаж, который теперь торговал пуговицами и утверждал, что «продажи — это когда ты продаёшь то, чего нет, тому, кто не хочет, и называешь это успехом»;

— «Утюг моей любви» — мюзикл о женщине, которая влюблена в утюг, потому что «он единственный, кто всегда горячий и никогда не уходит, и ещё он гладит мои штаны, что не может не трогать»;

— «Симфония брака» — перформанс, в котором три бомжа, стоя на коробках, орали друг на друга, пока один не ушёл, второй не начал пить, а третий не стал роботом-проповедником.

Да, и у них в труппе был настоящий робот-проповедник. Он появился внезапно, как будто кто-то выбросил его с неба. Это был старый робот модели Preacher-55, с ржавым крестом на груди, треснувшим экраном вместо лица и голосом как у радио, которое забыли выключить в 1953 году и теперь оно вечно вещает о конце света, потому что не умеет говорить о чём-то другом.

Он стоял на бетонной тумбе и каждые два часа объявлял:

— Конец света близок! Покайтесь! Я перезагружаюсь каждые 12 часов!

Никто не знал, откуда он взялся. Никто не знал, кто его включил. Но все уважали. Потому что он был единственным, кто знал расписание апокалипсиса, даже если оно было с ошибками, и ещё потому, что он умел перезагружаться с драматическим эффектом: его экран гас, он издавал звук, как будто умирает, потом вдруг включался с новым лицом (иногда — с лицом Эйзенхауэра, иногда — с лицом клоуна, иногда — с лицом самого себя, но в молодости) и говорил: *«Я вернулась. Свет ещё не кончился. Но скоро»*.

Элмер, будучи человеком широких взглядов, предложил ему стать частью труппы. Робот согласился. Его первая роль — ангел в «Болт-ревю №2: Падение с высоты 7,2 метра», где он должен был парить над сценой (на верёвке, привязанной к балке моста), крича *«Грех! Грех! Грех!»*, и время от времени перезагружаться посреди монолога, после чего возобновлял с того же места, но уже голосом певицы из 1940-х, поющей *«I've Got You Under My Skin»*, что, впрочем, тоже подходило по смыслу.

Жизнь под мостом кипела. Это было не просто место для ночлега — это был культурный центр, социальный эксперимент, антисистема, где каждый мог быть кем угодно: философом, королём, актёром, даже роботом, если повезёт.

Однажды Элмер устроил «Фестиваль бессмысленных достижений», где бомжи соревновались:

— в самом длинном вздохе (победил бывший оператор дыхательных аппаратов, который дышал 7 минут 12 секунд, после чего упал и сказал: *«Я больше не хочу»*);

— лучшим подражании звуку утекающего крана (победила женщина, которая 20 лет слушала это в своей квартире и теперь могла воспроизвести любой тип капель — от «философский» до «депрессивный»);

— самой грустной песне, спетой на фоне рекламы робота-горничной (победил Элмер с композицией *«Ты ушёл, а я остался с болтами»*, которую он исполнил под аккомпанемент робота-пылесоса, настроившегося на минор).

Однажды в середине лета, когда маслянистая вода под мостом особенно сильно блестела, как будто пыталась притвориться океаном, Элмер решил устроить «Ночь поэзии и вина» — самый амбициозный проект в истории подмостового искусства, самый дерзкий культурный вызов системе, которая считала, что человек без денег — не человек, а просто ошибка в расчётах.

Он объявил об этом за неделю. Повесил афиши (нарисованные углём на обрывках рекламы United Bolt Co.), разослал «приглашения» (в виде бутылок с записками внутри, пущенных по течению, одна из которых дошла даже до канализационной станции, где её прочитал робот и, вдохновившись, начал петь) и даже уговорил робота-проповедника выступить не как проповедника, а как ведущего вечера, потому что «у него голос как у судьбы, только с помехами».

Вечер начался с церемонии открытия, где Элмер, в фольгированном пиджаке, с короной из скрепок и с бутылкой «Виноградной надежды» в руке как жезлом, вручил себе премию «Золотой болт» за «вклад в культуру нищеты», после чего торжественно прибил её к бетонной арке, где она тут же упала, но никто не поднял, потому что «символизм важнее устойчивости».

Затем началась поэзия.

Первым выступил бывший учёный по имени Джо, который когда-то изобрёл вечный двигатель, но его закрыли, потому что он «нарушает баланс рынка», а рынок, как известно, не может существовать без дефицита, иначе перестаёт быть рынком и превращается в хаос, а хаос — это плохо, если только ты не философ. Джо вышел на сцену — то есть на кусок ржавого железа, который, по слухам, когда-то был частью крыла самолёта, разбившегося из-за того, что кто-то использовал для крепления болт, купленный на распродаже, — и, стоя в позе человека, который слишком долго смотрел на звёзды, прочитал стихотворение, написанное на обороте счёта за воздух:

*Я думал, что знание — свет,
Но свет — это реклама.
Я думал, что правда — ответ,
Но ответ — это паника.
Я думал, что наука — прогресс,
Но прогресс — это болт,
А болт — это бизнес,
А бизнес — это... смерть.
Так что я ушёл под мост,
Где хотя бы тихо,
И где никто не спрашивает,
Зачем я живу.*

Публика аплодировала. Робот-пылесос играл на «барабанах» — то есть стучал бампером о бетон, как будто это был единственный способ выразить эмоции, доступный машине, лишённой сердца, но не лишённой ритма.

Затем выступила женщина, которая утверждала, что была королевой Эльдорадо, но её свергли из-за налоговой реформы, которая увеличила пошлину на золото, и народ, как это часто бывает, выбрал деньги вместо короны. Она спела, сопровождая себя на утюге, который гудел, как орган:

*Корона тяжела,
А налог — ещё тяжелее.
Теперь я живу под мостом,
Но всё равно — королева.
Моя власть — это песня,
Моя армия — бомжи,
Моя казна — пустая банка,
Но я — свободна.*

*А свобода — это когда
Тебя большие не могут уволить.*

После неё выступил бывший актёр, который играл второстепенные роли в рекламе робот-горничных, но был уволен за то, что «слишком эмоционально вытирал пыль».

Он прочитал монолог, написанный на стене:

*Я был человеком-рекламой.
Я улыбался, когда не хотел.
Я говорил: «Она уберёт всё!»,
Когда знал, что она даже не включится.
Я был лицом лжи.
А теперь я — лицо правды.
И правда в том,
Что я не хочу убирать.*

Он закончил. Молчание. Потом — овация. Даже робот-проповедник, стоявший в первом ряду, мигнул красным глазом и произнёс:

— Аминь.

Затем выступила кошка, которая, по утверждению Джо, «когда-то была поэтом в прошлой жизни, но теперь молчит, потому что поняла: мир не слушает». Она просто села посреди сцены, посмотрела на публику и мяукнула один раз — коротко, чисто, как будто сказала всё, что нужно.

Все замерли. Это был шедевр.

И наконец настал черёд Элмера.

Он встал. В руке — бутылка «Виноградной надежды». На голове — корона из скрепок, слегка перекошенная, как будто символизировала не только королевство, но и его нестабильность. Он посмотрел на своих соратников — на Джо, на бывшую королеву, на робота-пылесоса, на робота-проповедника, на кошку, на бомжей, сидящих на картоне как на троне, — и понял: они — его семья. Не по крови. Не по документам. По выбору. По безумию. По поэзии.

— Дамы и господа, — сказал он, — и вы, роботы, и вы, кошки, и вы, пузыри в канализации... сегодня мы не просто поэты. Мы — последние свидетели. Последние, кто ещё может сказать: «Я был. Я пел. Я пил. Я существовал». Мы — те, кого система выбросила, потому что мы не вписались в график, в норму, в прибыль. Но мы — те, кто остаётся. Потому что мы не работаем. Мы живём. Или, по крайней мере, пытались. — Он поднял бутылку. — За нас! За тех, кого забыли! За тех, кто не нужен! За тех, кто всё равно поёт!

Они пили. Смеялись. Пели. Робот-проповедник перезагрузился и начал петь *My Way*. Джо танцевал с утюгом. Кошка мяукала в такт. Бывшая королева короновала робота-пылесоса. Элмер начал петь:

*Я был болтом, я был станком,
Я был пылью, я был вином,
Я был нулём, я был никем,
Но я был — и это закон.*

И в этот момент — без предупреждения, без сирен, без объявления, без драматического вступления, без даже намёка на то, что происходит что-то не так — всё закончилось.

Просто — вспышка.

Огромная, белая, всепоглощающая, как будто кто-то включил фонарь в комнате, где царил вечная тьма. Не было звука. Было *всё сразу и ничего*. Пространство исчезло. Время сложилось как старый зонт. Материя растворилась. Души, если они были, не успели испугаться. Мысли, если они ещё рождались, не успели оформиться. Элмер не успел закончить строчку. Джо не успел улыбнуться. Робот-проповедник не успел сказать: *«Я предупреждал»*. Кошка не успела прыгнуть.

Они просто перестали быть.

Как будто кто-то стёр их с доски. Как будто кто-то сказал: *«Ну хватит»*. Как будто мир, уставший от себя, решил: *«Ладно, давайте сначала»*.

И тут он проснулся.

В своей настоящей реальности, как адвокат Элмер Т. Харкнесс.

* * *

Когда Элмер Т. Харкнесс открыл глаза, он не сразу понял, где находится, потому что мозг его, только что переживший полную и насыщенную жизнь от рождения до апокалипсиса, включая детство в доме, где стены были покрыты плесенью, похожей на карту страны, которой больше не существует, подростковые годы, проведённые в школе, где учителя смотрели на учеников как на будущих налогоплательщиков, работу на заводе, где каждый болт был шагом к величию Америки, падение в бомжество, бурную поэтическую карьеру под мостом и, наконец, внезапное и мгновенное уничтожение всего сущего в результате ядерного взрыва, который не дал никому даже шанса произнести последнее слово, — этот мозг, привыкший к масштабам целой жизни, внезапно обнаружил, что всё, что с ним произошло, уместилось в один час, проведённый в капсуле, похожей на гроб для тех, кто хочет умереть и родиться заново, но только не слишком надолго.

Он сел. Медленно. Осторожно. Как будто боялся, что если резко шевельнётся, то весь этот странный мир вокруг него — хромированные стены, неоновые вывески, роботы с микрофонами и люди в костюмах, сияющих, будто они сделаны из чистого оптимизма, — рассыплется, как карточный домик, построенный на песке, который, в свою очередь, лежит на льду, который тает, потому что кто-то включил рекламу кондиционеров на полную мощность.

Крышка капсулы открылась с тихим шипением, как будто сама реальность выпускала его из лёгкого забвения, как будто говорила: *«Ну что, хватит? Или хочешь ещё один час в роли бомжа, который поёт под аккомпанемент робота-пылесоса?»* Электроды отклеились от висков, оставив после себя лёгкое жжение, будто напоминание: *«Ты был где-то. Ты кем-то был. Но теперь — ты снова ничто. Ну, почти»*.

Он моргнул. Перед ним стоял не мост, не канализация, не робот-проповедник, не Джо с утюгом. Перед ним был офис «Симуляции-57» — блестящий, хромированный, переполненный людьми, которые кричали, махали руками, снимали на камеры, и один робот с микрофоном в руке прыгал, как будто его пружина сломалась, но он всё равно пытается быть весёлым, потому что, если он перестанет прыгать, его уволят за потерю «корпоративного духа».

— Мистер Харкнесс! — закричал человек в костюме, который сиял, как будто был соткан из солнечного света, надежды и рекламы зубной пасты, обещающей «улыбку будущего уже сегодня!» — Вы проснулись! Вы — легенда! Вы — первый победитель джек-пота в истории Симуляции-57! Вы — человек, который, не зная того, стал причиной конца света! Вы — гений! Вы — герой! Вы — супермиллиардер! Вы — причина, по которой игра перезапущена! Вы — причина, по которой мы все получим премии! Вы — причина, по которой я, наконец, смогу купить себе новую машину, не похожую на гроб!

Элмер моргнул ещё раз. Он не понимал. Он был адвокатом. Он защищал людей, которых ненавидел. Он читал Уголовный кодекс перед сном, как другие читают сказки детям. Он не знал, что такое «джек-пот», кроме как статья о мошенничестве с лотереями, и даже тогда он интересовался только тем, как доказать, что организаторы не собирались платить, а не тем, как выиграть.

— Я... я только что был под мостом, — сказал он, оглядываясь, будто ожидая увидеть робота-пылесоса, бегущего к нему с ведром, чтобы убрать следы его существования. — Я пил. Я пел. Я был... бомжом.

— Именно поэтому вы выиграли! — закричал человек, как будто это было самое очевидное объяснение в мире, как будто все знают, что чтобы стать миллиардером, нужно сначала стать бомжом, и чем больше ты бомж, тем больше шансов на джек-пот. — Потому что вы — бомж! Потому что вы — никто! Потому что вы — случайность! Потому что вы — ошибка в системе, которая случайно оказалась первопричиной!

Он достал планшет и показал Элмеру схему, которая выглядела как генеалогическое древо апокалипсиса, только вместо предков были болты, компьютеры, ракеты и одно изображение Элмера в фольгированном пиджаке, с бутылкой в руке и с надписью: «*Здесь начинается конец*».

— Смотрите: вы работали на заводе «United Bolt Co. — Мы делаем мир крепче!». Выпустили один болт. С микроскопическим отклонением в 0,003 миллиметра. Никто не заметил. Болт пошёл в производство. Стал частью схемы суперкомпьютера StratCom-9, который управлял ядерным арсеналом США и, по слухам, иногда играл в шахматы с президентом и всегда выигрывал, потому что президент был человеком, а машина — нет. Из-за этого отклонения система приняла ложный сигнал о массированном ядерном нападении. Запустила ответный удар. Мир уничтожен. Вы — первопричина. Вы — причина причины. Вы — искра. Вы — тот самый винтик, который если бы его не было, ничего бы не случилось, но поскольку он был — всё случилось.

— Я... я пил на работе, — сказал Элмер.

— Именно! — воскликнул человек, как будто это было самое гениальное признание в истории человечества. — Без вашей халатности — не было бы брака! Без брака — не было бы ошибки! Без ошибки — не было бы апокалипсиса! Без апокалипсиса — не было бы победителя! Без победителя — не было бы джек-пота! Без джек-пота — не было бы рекламы! Без рекламы — не было бы прибыли! Без прибыли — не было бы премий! А у меня ипотека! — добавил он уже тише, но с такой искренностью, что Элмер почти почувствовал к нему симпатию.

В этот момент в зал внесли чек.

Не бумажный. Не цифровой. Чек размером с рекламный щит, с цифрами, которые заканчивались на стольких нулях, что их не могли вместить даже самые смелые мечты бывшего бомжа, который мечтал только о том, чтобы его болт стал «Болтом дня». На чеке было написано: *12 347 892 105 долларов*. Ниже — *«Симуляция-57 благодарит за уничтожение мира. Игра перезапущена. Спасибо за участие. Пожалуйста, не пытайтесь повторить в реальной жизни»*.

Ему вручили также сертификат *«Участник Симуляции-57. Победитель джек-пота. Причина конца света. Подпись: Система»*. И диск *«Самые яркие моменты вашей жизни: от рождения до апокалипсиса»*.

— Хотите посмотреть? — спросил робот-журналист, который, судя по голосу, был настроен на «восторг, уровень 9», что, по инструкции, означало: *«Говори громко, улыбайся, даже если внутри ты чувствуешь только пустоту и маслянистую жидкость»*.

— Нет, — сказал Элмер. — Я уже прожил это.

Но потом добавил:

— Хотя... может, один момент.

Он вставил диск в терминал. На экране появилась сцена: он стоит на куске железа, в фольгированном пиджаке, с бутылкой в руке, и говорит: *«За нас! За тех, кто всё равно поёт!»* — а вокруг смеются, плачут, поют, танцуют с утюгами, робот-проповедник перезагружается и начинает петь *My Way*, а кошка смотрит в камеру, как будто знает, что это конец, и всё равно мяукает: *«Я была»*.

Он смотрел. И впервые за много лет — улыбнулся.

Не потому что он выиграл.

Не потому что он теперь супермиллиардер.

А потому что он был счастлив.

Даже если это было в симуляции.

Даже если это длилось всего один час.

Даже если он был бомжом, алкашом, безработным, поэтом улиц, который пел под аккомпанемент робота-пылесоса и считал, что это — апогей искусства.

Но, если честно, это был не апогей. Это было абсурдное шоу, наполовину импровизация, наполовину алкогольное видение, наполовину — нет, стоп, уже три «наполовины», но в подмостковом театре математика не работает, потому что там действует закон поэтической неточности, который гласит: *«Сколько угодно наполовин — если это звучит красиво»*.

Он вспомнил, как однажды, во время спектакля «Болт-ревю №3: Возвращение к себе, которого нет», робот-проповедник, перезагрузившись посреди монолога, вдруг начал читать рекламу зубной пасты, потому что в его памяти, по ошибке, была установлена операционная система от робота-продавца. И он стоял на тумбе, с крестом на груди, и говорил: *«Почистите зубы — и апокалипсис подождёт!»* А потом добавил: *«Скидка 15% при оплате в кредит»*. Все ржали так, что даже робот-пылесос, обычно равнодушный к юмору, начал вибрировать в такт хохоту, как будто у него был сбой в системе охлаждения.

Он вспомнил, как Джо, бывший физик, однажды попытался объяснить бомжам, почему Вселенная расширяется, используя для наглядности надутый презерватив, найденный в канаве. *«Смотрите, — сказал он, — вот Вселенная. Чем больше мы дуем, тем дальше улетают галактики»*. — *«А если лопнет?»* — спросил кто-то. *«Тогда будет Большой взрыв. Или, возможно, просто дурацкий звук»*. Презерватив лопнул. Все заплодировали. Джо сказал: *«Ну что ж, теперь мы знаем, как это было»*.

Он вспомнил, как в день, когда он стал «королём бомжей» (церемония прошла под аплодисменты, хлопки по жестяным банкам и звук, издаваемый роботом-пылесосом, который, по слухам, пытался играть марш), он попросил у своих «подданных» желание. Один сказал: *«Хочу, чтобы завтра не было дождя»*. Другой: *«Хочу, чтобы у меня был дом»*. Третий: *«Хочу, чтобы робот-проповедник наконец сказал что-то новое»*. А робот, услышав это, перезагрузился и сказал: *«Конец света близок! Покайтесь! Я перезагружаюсь каждые 12 часов! И... у меня аллергия на пыль»*. Все застыли. Это было первое новое сообщение за 17 лет. Они устроили праздник. Пили «Виноградную надежду». Пели. Танцевали. Некоторые плакали. Робот-пылесос убирал осколки бутылок. Это был лучший день в истории подмосткового общества.

И вот этот самый день, эта самая жизнь, эти самые бомжи, этот самый робот, эта самая бутылка, этот самый болт, который он выпустил, пьяный, с улыбкой, под аккомпанемент конвейера, — всё это, в сумме, случайно, ненамеренно, почти по ошибке, уничтожило мир.

И теперь он сидел здесь, в офисе, где стены были обшиты хромом, как будто архитекторы решили, что будущее — это просто увеличенная в тысячу раз столовая при автозаправке, и смотрел на чек размером с рекламный щит, на котором было написано *«12 347 892 105 долларов»*, и думал: *«Ну и что мне теперь с этим делать? Купить больше Уголовных кодексов?»*

Но потом он вспомнил.

Он вспомнил Дорис.

Не как помощницу.

Не как сотрудника.

А как человека, который, вместо того чтобы просто положить на стол отчёт, положил туда конверт с розовой ленточкой, как будто пытался упаковать в него не просто билет, а что-то, что нельзя назвать, но можно почувствовать — как запах кофе по утрам, как тихое «доброе утро», как тот самый момент, когда ты понимаешь, что кто-то замечает тебя, даже когда ты сам себя не замечаешь.

Он вспомнил, как она стояла в дверях, с папкой в руках, с выражением лица, которое можно было бы описать как «надежда, замаскированная под деловитость», и как он сказал: *«Это глупо. Это бегство от реальности».*

А теперь он понял.

Иногда бегство — это единственный способ вернуться.

К себе.

К людям.

К жизни, которая не умещается в Уголовный кодекс.

Он достал телефон — редкое для него действие, потому что он считал, что телефон — это для тех, у кого есть кому звонить, а у него был только суд, клиенты и робот-секретарь.

Но теперь он хотел, чтобы кто-то ответил.

Он открыл сообщения. Набрал: *«Дорис. Это Элмер. Вы свободны сегодня вечером? Я хочу пригласить вас на ужин. И... спасибо за билет».*

Отправил.

Сердце, которое он считал просто насосом, вдруг дало сбой.

Он почувствовал, как будто внутри что-то щёлкнуло, как будто кто-то включил свет в комнате, где он никогда не был, а робот-секретарь вдруг сказал: *«Поздравляю. Вы впервые нарушили свой график».*

Через пять минут пришёл ответ: *«Не за что. Я уже три часа сижу в ресторане La Belle Époque и заказываю коктейли, которые не пью. Если вы не приедете, я закажу десерт».*

Он улыбнулся.

Не фальшиво.

Не по инструкции.

Не как адвокат, который выиграл процесс, но знает, что клиент виновен.

А как человек, который, наконец, понял: иногда самое важное — не то, что ты сделал, а то, кто уже ждёт тебя, пока ты до сих пор думаешь, стоит ли идти.

Он сел в такси.

Не в робот-такси, которое везло бы его по оптимальному маршруту, без разговоров, без ошибок, без души, и которое по прибытии сказало бы: *«Стоимость поездки: 4,75 доллара. Не забудьте оценить поездку. Ваша оценка повлияет на моё будущее».*

Нет. Он сел в обычное.

С живым водителем.

Старым, с бородой как у философа, который слишком долго сидел в пещере, и с радио, которое играло что-то, что, по его мнению, было джазом, но на самом деле было рекламой робота-горничной 1953 года, где пелось: *«Я уберу всё, даже твою боль!».*

— Куда едем, босс? — спросил водитель, не оборачиваясь, как будто знал, что любой, кто садится в такси с таким лицом, как у Элмера, либо только что выиграл в лотерею, либо только что понял, что он был влюблён в свою помощницу последние пять лет.

— В La Belle Époque, — сказал Элмер. — И... не спешите.

Таксист улыбнулся.

— Первый раз за десять лет, — сказал он, — кто-то просит не спешить. Обычно все кричат: *«Быстрее! У меня суд!»* А вы — *«не спешите»*. Вы что, не юрист?

— Юрист, — сказал Элмер. — Но сегодня — нет.

— Ну, тогда, — сказал водитель, медленно трогаясь с места, — поедem так, будто у нас есть время. Хотя у меня, конечно, его нет. У меня ипотека. Но для вас — сделаю исключение. Только не говорите моему роботу-бухгалтеру.

Машина поехала.

Медленно.

По улицам, где роботы-дворники чистили асфальт, как будто пытались стереть следы жизни.

Где рекламные щиты кричали: *«Симуляция-57: Проживи чужую жизнь!»*

Где в окнах офисов светились лица, смотрящие в капсулы, мечтающие стать кем-то другим.

А он сидел и думал: *«А может, быть собой — это и есть джек-пот?»*

Даже если ты бомж.

Даже если ты адвокат.

Даже если ты просто человек, который, наконец, заметил, что рядом с ним кто-то давно ждёт».

Когда такси остановилось у ресторана, Элмер вышел.

Посмотрел на вывеску.

На дверь.

На своё отражение в стекле.

Он был всё тем же Элмером Т. Харкнессом.

Только теперь — с чеком на 12 с хвостиком миллиардов.

С сертификатом, подтверждающим, что он стал причиной конца света.

С диском, на котором была записана его жизнь бомжа, и с чувством, которое он не мог назвать, но которое, возможно, называлось *«лёгкое опьянение от осознания, что ты больше не обязан читать Уголовный кодекс перед сном».*

Он открыл дверь ресторана La Belle Époque — заведения, чьё название намекало на эпоху изящества, но интерьер которого был выдержан в стиле *«атомный ретро-фьюжн с элементами хромированного ужаса»*: столы из стекла и болтов, стулья, похожие на трофеи с выставки робототехники 1955 года, а центральный светильник представлял собой огромную модель атома, где вместо электронов вращались миниатюрные роботы-горничные.

И увидел её.

Дорис.

Она сидела за столиком, на котором стояли три невыпитых коктейля и лежал раскрытый журнал *«Работник завода: ежемесячный бюллетень профсоюза»*, хотя на заводе Дорис никогда ранее не работала.

Она подняла глаза и улыбнулась.

Не как помощница.

Не как женщина, которая пять лет подряд приносила ему кофе с одной чайной ложкой сахара и каплей сливок, как будто пыталась подсластить его жизнь по миллиграмму.

А как человек, который, наконец, дождался.

— Я ждала, а вы опоздали, — сказала она.

— Да, — сказал он. — Я сначала заехал в банк. Чтобы внести чек. Но они не поверили. Сказали: *«Это шутка. Или ошибка. Или реклама».* Я показал сертификат. Они сказали: *«А это — ещё хуже».* Потом приехал робот-аудитор, измерил чек лазером, сказал: *«Да, это настоящий чек. Но вы уверены, что хотите его внести? Мы можем просто повесить его на стену».*

— И что вы сделали?

— Сказал: *«Нет, я хочу внести».* — *«Тогда у нас ипотека».* — *«Что?»* — *«Нет, я имею в виду, у нас теперь будет ипотека, потому что вы нас разорите своим счётом».*

Она засмеялась.

— А вы что, действительно думали, что я не приду? — спросил он, садясь.

— Конечно, думала, — сказала она. — Вы же адвокат. Вы приходите только тогда, когда это выгодно по тактике. И забываете, что у вас есть жизнь вне суда.

— Я и забыл, — сказал он. — Но теперь вспомнил. Особенно после того, как умер в апокалипсисе.

— Это, наверное, шок, — сказала она. — Умереть. Даже если это в симуляции.

— Да. Особенно когда ты только что закончил петь *«Я был — и это закон»*.

— А вы действительно пели?

— Да. Под аккомпанемент робота-пылесоса.

— Он был в ударе?

— Он был в миноре. Говорил, что чувствует трагедию момента.

— А вы?

— Я чувствовал, что, возможно, это лучший концерт в моей жизни.

— Даже лучше, чем в зале суда, когда вы оправдали того парня, который убил соседа за то, что тот слишком громко слушал радио?

— Намного лучше. Там я выиграл процесс. Здесь — я был счастлив.

Она посмотрела на него.

Потом на невыпитые коктейли.

Потом на официанта, который стоял неподалёку, как будто пытался понять, где же робот-секретарь Элмера, потому что посетители обычно приходили в La Belle Époque со своими роботами-секретарями, а этот пришёл один, с глазами, в которых читалось *«Я только что уничтожил мир и не знаю, что заказать на ужин»*.

— Закажем шампанское? — сказала она.

— Давайте, — сказал он. — Только не будем его пить.

— Почему?

— Потому что, если мы его выпьем, это будет означать, что мы празднуем. А я ещё не понял, что именно мы празднуем. Победу? Уничтожение мира? Бракованный болт? Или то, что вы, наконец, сказали мне: *«Я ждала»*?

— А вы что думали? Что я просто так дала вам билет?

— Я думал, вы просто были добры.

— Я была влюблена.

— А теперь?

— Теперь вы — супермиллиардер, который стал причиной апокалипсиса.

— Это меняет ситуацию?

— Нет. Только если вы не начнёте петь в общественных местах.

Официант подошёл к ним с подносом, бутылкой шампанского, обёрнутой в серебряную фольгу, как будто это был секретный документ, и с тремя бокалами.

— Три? — спросил Элмер.

— Один для вас, один для дамы, — сказал официант, — и один для вашего робота-секретаря, которого вы, видимо, оставили в машине.

— У меня с собой нет робота-секретаря.

— Тогда я уберу лишний бокал, — сказал официант, явно разочарованный тем, что не сможет включить в счёт «услуги роботу-гостю».

Он налил шампанское.

Медленно.

Как будто боялся, что, если пена взлетит слишком высоко, это вызовет цепную реакцию, аналогичную той, что уничтожила симуляционный мир.

Элмер поднял бокал.

— За что пьём? — спросила Дорис.

— За бракованный болт, — сказал он. — Без него я бы до сих пор сидел в Уголовном кодексе как закладка.

— А за меня?

— За вас — отдельный тост.

— И какой?

— За человека, который подарил мне билет, не зная, что этим билетом я уничтожу мир, но, возможно, наконец, найду себя. И за то, что вы ждали. Даже когда я не знал, что вы ждёте.

Они чокнулись.

Не сильно.

Так, чтобы пузырьки не брызнули на журнал.

За окном проехало такси. То самое. С водителем, который теперь, наверное, рассказывал пассажирам: *«Я вёз миллиардера! Он сказал: „Не спешите“. Я чуть не плакал. У меня ипотека!»*.

А внутри ресторана сидели двое.

Один — адвокат, который стал причиной конца света.

Другая — его помощница, которая стала причиной его начала.

И между ними — бокалы с коктейлями, которые никто не пьёт.

Потому что иногда самое важное — не то, что ты выпил.

А то, с кем ты рядом.

И то, что ты, наконец, не один.

Ветер над степью

Над бескрайней степью, где земля сливается с небом в сизой дымке горизонта, где ветер, как древний шаман, шепчет сквозь ковыльные заросли тайны предков, где каждый камень — глаз, следящий за прохожим, а каждая яма — могила неизвестного героя, — встаёт солнце, словно раскалённый щит, поднимаемый рукой Цаган Аавы. Оно льётся по степи, как расплавленное золото, окутывая холмы, балки, солончаки и древние курганы, что стоят как часовые, охраняющие сны усопших. Здесь, на этой земле, где каждый шаг отдаётся эхом в памяти веков, рождаются легенды. Здесь, среди ветров и песков, среди сказаний о духах и богатырях, начинается рассказ о храбром сыне народа хальмгуд, чьё сердце билось в такт с сердцем степи, чьё оружие было острее, чем когти шулмуса, а душа — чище, чем вода из родника под горой Манзур.

Его звали Бату-Хурэ, но впоследствии стали называть Тенгри-Хурэ. Он не был ханом, не был шаманом, не был князем — он был тем, кого выбирает сама степь, когда приходит час великих бедствий. Его лицо было иссечено шрамами, как древняя карта степей, глаза — цвета бурого орлиного пера, глубокие, как колодцы времени. Волосы, чёрные как вороново крыло, были стянуты в узел на затылке, обмотанные синей лентой — цветом неба и верности. На плечах — кольчуга из змеиной чешуи, сплетённой шаманами в далёком прошлом, на поясе — меч из метеоритного железа, выкованный под созвездием Ориона, а в правой руке — топор, что когда-то принадлежал его отцу, убитому шулмусами в канун Зула.

Он шёл по степи один, и каждый его шаг отзывался в земле как удар сердца древнего дракона, спящего под горой Хангай. За ним струилась тень, длинная, как тень кургана в полдень, и, казалось, что она живая, что она — не просто отражение, а дух-хранитель, пришедший из мира умерших, чтобы сопровождать его в последнем походе.

Ветер играл с его плащом, сшитым из барсучьих шкур и окрашенным в синее и красное — цвета жизни и смерти. В ушах — серьги из нефрита, дар старшей сестры, унесённой духами воды в озеро Маныч. На груди — амулет, вырезанный из кости мамонта, с изображением Верховного Ойрата, скачущего на коне с крыльями орла.

Он шёл. И степь молчала. Даже ветер стих. Потому что знала — пришёл час суда.

* * *

Давным-давно, когда степь была молода, а небо ещё не разделилось на свет и тьму, когда огонь только научился гореть, а вода — течь, жили на земле два существа: Хулһн — мышь и Зорхн — барсук. Они были не просто зверями — они были духами, рождёнными из слёз Окон Тенгри.

Хулһн была маленькой, но быстрой, как молния, и умной, как старый шаман. Её шубка была серебристо-серой, как утренний туман, глаза — чёрные, как уголь, и в них светилось что-то большее, чем просто жизнь. Она жила в норе под старым тополем, что рос на берегу озера, где вода была чиста, как слеза новорождённого. Каждое утро она выходила на край своего жилища, садилась на задние лапки и смотрела на восход, шепча молитву Небесной Деве, прося о мудрости и благополучии для всех живых существ.

Зорхн же был сильным, как бык, и молчаливым, как ночь. Его шкура была тёмно-бурой, с белыми полосами на спине, как следами пальцев бога, водящего его по земле. Он обитал в глубокой норе у подножия холма, где росла дикая мята и пели сверчки. Он не говорил много, но каждое его слово было как камень, брошенный в тихую воду.

Они не были друзьями. Сначала. Потому что мышь — хитра, а барсук — груб. Их пути редко пересекались, и когда пересекались — всегда заканчивались ссорой. Хулһн считала

Зорхна медлительным и грубым, а Зорхн видел в мыши лишь надоедливую воровку, что крадёт зёрна из его запасов.

Но однажды наступила великая засуха. Небо стало медным, земля потрескалась, как старая кожа, и реки высохли. Даже озеро, на берегу которого жила Хулһн, превратилось в лужу, покрытую солью. Животные умирали. Птицы падали с неба. Волки съедали своих детёнышей. Духи воды ушли очень глубоко.

И тогда Хулһн вылезла из норы и пошла искать воду. Она бродила три дня и три ночи, пока не увидела Зорхна, что копал в земле как одержимый. Его лапы были в крови, когти обломаны, но он не останавливался.

— Что ты делаешь, глупый? — пискнула она. — Здесь нет воды. Земля мертва.

Зорхн поднял голову. Глаза его были красные от пыли и усталости.

— Я не верю, — прохрипел он. — Вода есть. Я чувствую её. Под землёй. Глубоко. Я копаю, чтобы достать её. Для всех.

Хулһн фыркнула.

— Ты глуп. Ты умрёшь здесь, как муха в солончаке.

— Может быть, — сказал Зорхн. — Но я не остановлюсь.

И он снова начал копать. А Хулһн смотрела. И впервые в жизни почувствовала странное уважение. Она видела, как он не сдаётся. Как борется. Как верит, когда всё говорит об обратном.

Она подошла ближе.

— Я помогу, — сказала она.

Зорхн удивился.

— Ты?

— Да. Я маленькая, но быстрая. Я могу носить землю. И искать, где почва влажнее.

Так началась их работа. День за днём, ночь за ночью. Они копали вместе. Хулһн носила землю, Зорхн рвал пласты глины. Они не разговаривали много. Но между ними росло что-то новое — не дружба, а что-то большее. Что-то, что шаманы позже назовут *любовью*.

И вот, на двенадцатый день, когда силы уже покидали их, когда Хулһн едва могла ползти, а Зорхн копал одной лапой, так как другая была сломана, — они услышали шум.

Тонкий, как шёпот, но живой.

Вода.

Она пробивалась сквозь трещину в камне, как серебряная нить, как слеза радости.

Они смотрели на неё. Молча. Потом Хулһн подняла голову и сказала:

— Мы сделали это.

Зорхн кивнул.

— Вместе.

С тех пор вода потекла вновь. Реки наполнились, трава выросла, животные вернулись. А Хулһн и Зорхн стали жить вместе, как два сердца, бьющихся в одном ритме, и каждый их взгляд был полон тепла, как огонь в юрте зимой.

Но боги ревнивы. Особенно Шара Гюлгю, повелитель шулмусов, что живут под землёй, в пещерах, где нет света, только страх и гниль.

Он увидел, как Хулһн и Зорхн любят друг друга, и рассмеялся.

— Любовь? — прошипел он. — Это слабость. Это свет, а я — тьма. Я не позволю.

И он послал шулмусов — своих слуг, существ, наполовину зверей, наполовину теней, с глазами как угли и когтями как кинжалы. Они вырыли под землёй тоннели и подкрались к норе Хулһн. В ту ночь, когда луна была полна, они напали.

Зорхн бросился защищать Хулһн, но шулмусы были быстры. Один из них вонзил когти в его грудь. Другой схватил Хулһн.

Но мышь, в последний миг, прокусила руку шулмуса и вырвалась. Она прыгнула к Зорхну, обняла его лапками и прошептала:

— Я не оставлю тебя.

И тогда, по преданию, произошло чудо. Их кровь смешалась на земле, и из этой крови выросло растение — *хэртэ-цветок*, с белыми лепестками и синим сердцем. А души их взлетели к небу и превратились в две звезды — одну маленькую, быструю, как мышь, другую — тяжёлую, но верную, как барсук. Они теперь сияют рядом в созвездии Двух Сердец.

С тех пор шулмусы ненавидят всех, кто любит. Потому что любовь — это свет. А они — тьма.

Но есть и другая версия этой легенды, которую рассказывают только старцы в самые тёмные ночи, когда ветер воет в трубах юрт, а дети прячутся под одеялами.

По этой версии, Хулһн не умерла. Она выжила. И, увидев, как убивают Зорхна, поклялась отомстить. Она спустилась в подземелье, где живут шулмусы, и, используя свою хитрость, проникла в сердце их царства. Там она нашла источник тьмы — чёрный камень, питающийся страхом и ненавистью. И, не имея сил разрушить его, она легла на него и превратилась в духа-стража, чтобы вечно следить, чтобы тьма не вырвалась на поверхность.

До сих пор, говорят, если ночью прислушаться у входа в пещеру, можно услышать тихий писк — это Хулһн шепчет: «*Я здесь. Я не уйду. Я охраняю свет*».

Эта легенда передаётся из поколения в поколение. Её поют в степи шаманы. Потому что она — не просто сказка. Она — напоминание. О том, что даже самое маленькое сердце может нести в себе великую любовь. И что любовь сильнее смерти.

* * *

Бату-Хурэ родился в ночь, когда на небе сошлись три луны — настоящая, призрачная и мёртвая. Шаман, старый Дерен, посмотрел на небо и сказал:

— Этот ребёнок родился под знаком Верховного Ойрата. Он будет велик. Или погибнет в муках.

Его мать, Амуга, плакала. Отец, Тунгал, молчал. Он был богатырём, убившим семерых шулмусов в пещере у реки Эрги, но однажды не вернулся с охоты. Его нашли на третий день — тело было изуродовано, глаза выклеваны воронами, а в груди — след от когтя, как от кинжала.

Бату рос быстро и в пять лет уже мог убить волка копьём. В десять — перехитрить барсука. В пятнадцать — выстоять в поединке с взрослым мужчиной. Он не учился у шаманов, но чувствовал духов. Не читал сказаний, но помнил их, как будто жил в прошлых жизнях.

Он любил степь. Не как землю для пастбищ, а как живое существо. Он слышал, как она дышит. Как смеётся, когда по ней бегут кони.

Он жил в стойбище у подножия горы Манзур, где паслись табуны, где пели девушки, где старцы рассказывали сказания у костра. Но он чувствовал — его место не здесь. Он был не просто пастухом. Он был *призванным*.

Каждое утро он поднимался на холм и смотрел на восток, где восходило солнце. Он не молился — он слушал. Слушал голос ветра, шёпот трав, пение птиц. И однажды он услышал, как кто-то шепчет его имя.

— Бату...

Он обернулся. Никого.

— Бату... помни легенду...

— Какую легенду? — спросил он.

— О Хулһн и Зорхн. О любви, что сильнее тьмы.

С тех пор он начал искать. Спросил у старцев. У шаманов. У пастухов. И узнал всё — и о любви, и о предательстве, и о страже под землёй.

Он понял: его судьба связана с этой легендой.

Однажды ночью, когда он стоял на вершине холма, глядя на звёзды, к нему пришёл старик с глазами как у совы. Он был одет в шкуры лисы и барсука, на голове — шапка из вороньих перьев.

— Ты слышишь, Бату? — спросил он.

— Что? — ответил юноша.

— Степь плачет. Шуlmусы проснулись. Они идут из-под земли. Они хотят уничтожить свет. Убить любовь. Затопить мир тьмой.

— Почему ты мне это говоришь?

— Потому что ты — Тенгри-Хурэ. Ты должен остановить их.

— А если я откажусь?

— Тогда ты умрёшь, как твой отец. А степь — как озеро в засуху.

Старик исчез как дым. Только ветер шелестел ковылём.

С тех пор Бату не спал по ночам. Он тренировался. Ковал своё тело, как кузнец куёт меч. Учился у старого воина, что потерял руку в схватке с демоном. Учился у шаманки, что говорила с духами предков.

И однажды, когда ему исполнилось двадцать, пришли вести.

Шулмусы напали на стойбище у реки Яшкуль. Убили всех. Сожгли юрты. Увели в подземелья женщин и детей. А на земле оставили след — когти, вонзённые в землю, как символ вызова.

Бату собрал меч, топор, лук и колчан со стрелами, наконечники которых были выточены из костей шуlmусов, убитых его отцом. Он сел на коня — чёрного как ночь, по имени Элчи, что значит «вестник», — и поскакал на восток, туда, где земля проваливается в бездну.

Дорога была долгой. Дни сменялись ночами. Иногда шёл дождь, как слёзы неба. Иногда дул ветер, как вой умирающего зверя. Бату ехал молча. Только Элчи фыркал, чувствуя запах смерти впереди.

Он миновал солончак, где когда-то стоял город древних, теперь — лишь камни, покрытые солью. Он прошёл мимо кургана, где, по легенде, похоронен великий хан, что победил дракона, но был предан своим братом. Там он оставил подношение — кусок мяса, горсть зерна и каплю своей крови.

Ночью он слышал голоса. Не человеческие. Шёпоты в ковыле. Смех в пещерах. Иногда — песнь, какую поют только духи.

Однажды он увидел огонь. Не костёр. А свет, идущий из-под земли. Зелёный, мерцающий, как глаз змеи.

Он спешился. Подкрался. Увидел вход — чёрную дыру в склоне холма, обрамлённую черепами животных и людей. На стенах — рисунки: шуlmусы, пляшущие вокруг костра, пожирающие сердца, разрывающие плоть.

Он вошёл.

Тоннели были узкими, влажными, пахнущими гнилью и медью. Пол усеян костями. На стенах — руны, вырезанные когтями. Он шёл час, два, три. Иногда слышал шаги. Иногда — крики пленников.

И вот он увидел зал.

Огромный. С потолка свисали сталактиты, как клыки. В центре — алтарь из чёрного камня. На нём — девочка, связанная верёвками из кишок. Рядом — шуlmусы. Десятки. Они были высоки, как люди, но тела их — покрыты чешуёй, спины изогнуты, пальцы заканчиваются когтями. Глаза — без зрачков, белые, как молоко. Они пели на языке, которого Бату не знал, но чувствовал — это заклинание тьмы.

И тут он увидел Шара Гюлгю.

Он сидел на троне из черепов. Его тело было огромным и было покрыто шрамами. На голове — корона из рогов баранов и костей павших богатырей. Глаза — два уголька, горящих в вечной злобе.

— Принесите сердце, — прошипел он. — Чтобы тьма вернулась.

Шулмус поднял нож.

Бату вышел из тени.

— Опустит нож, — сказал он. — Или умрёшь.

Шулмусы обернулись. Замерли. Потом засмеялись. Громко, как вороны.

Но Бату не дрогнул. Он вытащил меч. И ударил.

Первый шулмус упал с рассечённой грудью. Второй — с перерезанным горлом. Третьего он сбил топором. Остальные бросились на него.

Битва была жестокой. Клинки сверкали. Кровь брызгала по стенам. Бату двигался как вихрь. Он прыгал, кружился, рубил, колот. Его кольчуга звенела. Его крик был как рёв тигра.

Но их было слишком много.

Он отступил к стене. Рана на бедре кровоточила. Рука дрожала.

И тут он вспомнил легенду. О Хулһн и Зорхн. О любви, что сильнее смерти.

Он закричал — не от боли, а от силы. От памяти. От веры.

— Я — Тенгри-Хурэ! Сын степи! Я не умру!

И в этот миг что-то произошло.

Из его амулета вырвался свет. Синий как небо. Он охватил его как плащ. И шулмусы закричали. Потому что свет был для них ядом.

Он бросился вперёд. Убил ещё троих. Освободил девочку. И побежал к выходу.

Но Шара Гюлгю встал.

— Ты не уйдёшь, — прошипел он. — Ты умрёшь, как все.

И бросился на него.

Битва с Шара Гюлгю началась не с крика, не с удара, а с тишины — той леденящей, зловещей тишины, что предшествует буре, когда ветер замирает, птицы замолкают и даже земля перестаёт дышать. Великий демон медленно поднялся с трона из черепов, и каждое его движение было как скрежет камня о камень, как стон погребённого под горой. Его тень, огромная, извивающаяся, как змея, поползла по стенам, поглотив свет факелов, и лишь зелёное сияние из трещин в полу продолжало мерцать, будто сердце самой тьмы, бьющееся в ритме древнего заклинания.

Бату застыл, словно высеченный из гранита. Его дыхание было ровным, как у спящего волка. Кровь стекала по бедру, прожигая кожу, но он не чувствовал боли. Боль была слабостью. А он был Тенгри-Хурэ — богатырь, рождённый степью, воспитанный ветром, закалённый в огне страданий. Он знал: этот миг — судьба. Либо он умрёт, как тысячи до него, и его кости станут частью алтаря, либо он разобьёт цепи тьмы и вернёт свет в землю предков.

— Ты думаешь, ты герой? — прошипел Шара Гюлгю, его голос был как скрежет льда по камню. — Ты — песчинка в пустыне. Я видел падение городов. Я пожирал сердца ханов. Я был, когда небо ещё не имело имени. А ты — ничто.

— Я — сын степи, — ответил Бату, и его голос, низкий, как гул барабана, разнёсся по залу. — Я — кровь моего отца. Я — память о тех, кого ты убил. И я не боюсь смерти.

С этими словами он поднял меч. Лезвие, выкованное из метеоритного железа, дрожало в его руке, но не от страха — от жажды битвы. Оно помнило кровь шулмусов. Оно помнило смерть отца.

Шара Гюлгю зарычал. Его тело вспучилось, как будто под кожей шевелились тысячи червей. Он бросился вперёд — не бежал, а *скользил*, как тень, оставляя за собой след чёрного дыма. Его когти, длинные, как кинжалы, сверкнули в полумраке.

Первый удар — как удар молнии. Бату едва успел отскочить. Коготь вонзился в камень, и из трещины повалил чёрный пар, пахнувший тухлыми яйцами и гниющими корнями. Второй удар — в прыжке. Бату отбил его топором. Звон металла разнёсся по залу, как крик павшего орла.

Они сражались в танце смерти. Каждый шаг, каждый поворот — как удар сердца. Бату прыгал, как антилопа, уклонялся, как змея, рубил, как молния. Он вспоминал всё: учение старого воина и его удары, которые нельзя предугадать; шаманку, учившую, что дух сильнее плоти; мать, что пела ему колыбельные о звёздах и героях.

Но Шара Гюлгю был не просто сильнее — он был *древнее*. Его тело не знало усталости. Его глаза видели будущее. Он смеялся, когда Бату ранил его — и раны затягивались, как будто тьма заживляла его изнутри.

— Ты не победишь, — шептал он. — Ты — плоть. Я — тьма. Я — вечность.

И вдруг Бату почувствовал, как сила покидает его. Рана на бедре пылала огнём. Руки дрожали. Кольчуга, сплетённая из змеиной чешуи, треснула. Он упал на колено.

Шара Гюлгю поднял когти для последнего удара.

— Умри, как все.

Но в этот миг Бату закрыл глаза.

И увидел её.

В тених, у подножия алтаря, стояла маленькая фигурка. Серебристая, с чёрными глазами, как две капли ночи. Её шубка мерцала, как утренний туман. Это была Хулһн.

Она смотрела на него. Не как на героя. Как на сына. Как на продолжение легенды.

— Вспомни, — прошептала она, и её голос был тише ветра, но пронзительнее крика совы. — Вспомни, что сильнее тьмы.

Бату вспомнил. Вспомнил всё: как она, маленькая мышь, не оставила Зорхна. Как она легла на чёрный камень. Как превратилась в стража. Как пожертвовала собой ради света.

Он открыл глаза. И запел.

Не песню сражения. Не боевой клич. А *песнь Хулһн и Зорхн* — ту самую, что поют старцы в новолуние, когда звёзды сходятся в созвездии Двух Сердец. Песнь о любви, что не боится смерти. О верности, что сильнее гор. О маленьком сердце, что несёт в себе великий свет.

Голос его звучал как гул ветра в ущелье. И с каждым словом усиливался свет.

Сначала — тонкая полоса из амулета на груди. Потом — вспышка из раны. Потом — огонь, охвативший всё его тело. Синий, как небо над степью в полдень. Чистый. Священный.

Шара Гюлгю завыл. Его тело задымилось. Кожа треснула, как пергамент. Он падал, как дерево, сражённое топором, но падал с криком, что разнёсся по всем тоннелям, пробудил мёртвых, разбудил камни.

— Нет! — хрипел он. — Любовь — слабость!

— Нет, — сказал Бату, вставая. — Любовь — это свет. А свет — это сила.

И он вонзил меч в сердце демона.

Это был не просто удар. Это был *ритуал*. Как жертвоприношение. Как обряд очищения. Меч вошёл в грудь Шара Гюлгю, и из раны вырвалась не кровь, а чёрный дым, в котором кричали тысячи голосов погибших. Дым поднялся к потолку, стал сгущаться, как туча, и вдруг — взорвался.

Подземелье задрожало. Своды рушились. Сталактиты падали как копья. Огонь вспыхнул из трещин, но это был не огонь шулмусов — это был огонь очищения, белый как снег.

Бату схватил девочку, лежавшую на алтаре. Она была жива. Глаза её открылись — и в них отразился он, окутанный светом.

— Бежим, — сказал он.

Он побежал. Сквозь падающие стены, сквозь огонь, сквозь тени. Он слышал, как за ним падают шумусы, как кричат демоны, как рушится царство тьмы. Он бежал, как будто сама степь несла его, как будто ветер дышал в спину.

И когда он выскочил наружу, солнце встало.

Огромный золотой диск поднимался над горизонтом. Свет обжёг его лицо, но он не отвернулся. Он упал на колени. Девочка плакала. Он смеялся.

Но в глубине сердца он знал: это только начало.

Потому что тьма не умирает.

Она только отступает.

И ждёт.

Когда Бату вернулся в стойбище, степь встретила его песней. Ветер, проносясь сквозь ковыль, пел древнюю мелодию, как будто земля сама приветствовала своего сына. Деревья склоняли ветви, как перед царём. Птицы, белые и синие, кружили над ним, образуя круг — символ вечности.

Над горой Манзур встало солнце, окрашивая небо в цвета меди и крови. И в этот миг на вершине холма, где никогда не росло ничего, кроме соли и камней, расцвёл *хэртэ-цветок*. Белый, как слеза, с синим сердцем, как небо в полдень. Он стоял один, но его свет был сильнее тысячи факелов.

Люди выбежали из юрт. Женщины плакали. Мужчины падали на колени. Дети смотрели, не моргая, как на чудо.

Но Бату не остановился. Он прошёл сквозь толпу, как тень, и сел у большого костра, что горел посреди стойбища. Огонь вспыхнул ярче, когда он приблизился, будто узнал его.

Он сел у костра и попросил рассказать легенду о Хулһн и Зорхн.

Старцы переглянулись. Потом самый древний, с лицом, словно вырезанным из дерева, начал рассказ.

Бату слушал. И когда старец закончил, он улыбнулся.

— Это не просто сказка, — сказал он. — Это правда. Я видел её. В подземелье. Я слышал её голос. Она — живая. Она — в сердце каждого, кто верит.

Толпа замерла.

— И пока мы помним эту легенду, — продолжал он, — пока мы поём её детям, пока мы сажаем *хэртэ-цветы* у входов в юрты — шумусы не победят. Потому что тьма боится света. А свет — это любовь.

Он встал. Подошёл к коню — Элчи стоял, опустив голову, как будто знал, что наступает прощание.

— Я не могу остаться, — сказал Бату. — Моя дорога — это степь. Моя судьба — быть стражем. Как Хулһн.

Он сел на коня. Чёрного как ночь. Сильного как ветер. И поскакал.

Люди смотрели вслед. Долго. Пока он не стал точкой на горизонте. Пока ветер не унёс его следы.

Но некоторые говорят — по ночам, когда ветер поёт в трубах юрт, можно услышать топот копыт. Медленный. Ровный.

И тогда в небе загораются две звезды — маленькая и большая. Созвездие Двух Сердец.

А если выйти на холм в полнолуние, можно увидеть силуэт всадника на чёрном коне, что скачет по гребню, охраняя сны народа хальмгуд.

Его зовут Тенгри-Хурэ.

Богатырь, дышащий ветром небес. Сын легенды. Хранитель любви.

И где бы он ни был — он с нами.

Пока мы помним. Пока мы верим. Пока мы любим.

Поезд №001

Я никогда не любил железные дороги. Не потому, что они громкие, дрожащие, пыльные — хотя и это было правдой, особенно в августе, когда сухой ветер гнал по платформам московскую пыль, смешанную с угольной копотью, и она ложилась на лицо, как маска из пепла, оставляя на коже сухой, царапающий след, будто прикосновение мертвеца. Нет. Я не любил их потому, что они лишают человека выбора. Рельсы — как судьба: ты не можешь свернуть, не можешь остановиться, не можешь исчезнуть. Ты — в колее. И если эта колея ведёт в пропасть — ты всё равно поедешь. Потому что таков закон движения. А я — человек, привыкший к теням, к скрытности, к возможности исчезнуть в ночи, раствориться в толпе, стереть следы — я чувствовал себя в поезде как в гробу на колёсах. Особенно если знал: в этом гробу — не просто груз. А то, что не должно существовать. Но существует.

Это было 12 августа 1941 года. Москва уже дышала по-другому — коротко, с хрипом, как раненое животное, прижавшееся к земле перед ударом. Город был охвачен эвакуацией. Поезда уходили с Курского, Белорусского, Ярославского вокзалов не по расписанию, а по тревоге, по шифрам, по приказам из Кремля. Они увозили архивы ЦК, оборудование из конструкторских бюро, семена из Главного ботанического сада, картины, скульптуры и даже яйца Фаберже, упакованные в вату, как будто роскошь должна была пережить войну, чтобы напомнить миру, кто мы есть.

Но среди всех этих составов был один особый. Поезд №001. Его не было в расписании. Его не было в реестре Наркомпути. Его не было в графиках движения. Он не значился в документах, кроме одного — сверхсекретного приказа Особого отдела НКВД, подписанного лично Лаврентием Павловичем Берией, с пометкой: «К исполнению немедленно. Разглашение — расстрел. Контроль — лично за мной».

Я — старший лейтенант госбезопасности Иван Сергеевич Мельников — был назначен сопровождающим этого поезда. Не просто сопровождающим. Охранником. Хранителем. Последним, кто должен был видеть то, что везут. И, если потребуется, — тем, кто должен был уничтожить это.

Задание пришло ночью. 12 августа. В 03:47. Я спал плохо, как и все в те дни — с перебоями, с ощущением, что кто-то стоит у изголовья, смотрит, ждёт, считает пульс. Звонок раздался резко, как выстрел из ТТ в закрытом помещении. Я схватил трубку. Голос на том конце был сух, как трещина в асфальте, и холоден, как формалин:

— Мельников? Слушай внимательно. Ты назначен сопровождающим поезда №001. Отправление — сегодня, 18:00. Вокзал — Курский. Платформа 9. Вагон — №10. Секретность особой категории. Документы получишь на месте. Без опозданий.

Я хотел спросить: «Что везём?», но голос уже оборвал связь. В трубке зашумело, как будто кто-то дышал мне в ухо, и я повесил трубку, чувствуя, как по спине бежит холод, словно кто-то провёл по ней пальцем, смоченным в ледяной воде.

Я встал. Не включая света, начал одеваться. Форма, плащ-палатка, пистолет ТТ в кобуре под мышкой. На столе лежал мой партбилет — красный, с золотым серпом и молотом, потёртый по краям. Рядом — фотография жены, Анны Петровны, и сына, Вовки, сделанная в прошлом году в Парке культуры. Они уехали в Казань две недели назад, в эвакуацию. Я не стал брать фотографию. Не стал целовать её. Не стал класть в карман. Просто посмотрел на неё в полутьме — на улыбающееся лицо жены, на серьёзные глаза сына — и отвернулся. Потому что если я возьму её с собой — я стану слабым. А слабость в моей профессии — смерть. Не только моя, но и тех, кого я должен охранять.

Я вышел на улицу. Москва дышала по-другому. Воздух был густым от пыли, от дыма, от страха. Всюду — транспортные колонны, грузовики с ящиками, танки на эвакуаторах, артил-

лерия, укрытая брезентом. На каждом перекрёстке — патрули НКВД. На каждом углу — контроль. Пропуска, допуски, пароли. Кто не может назвать сегодняшний пароль — тот исчезает. Просто. Без следа.

Курский вокзал в тот вечер был пуст, как будто его вымыли и оставили. Эвакуационные поезда уходили с других платформ, а здесь — тишина, пыль и только дрожь под ногами от проходящих составов. Я прошёл мимо милиционера, который не спросил документов, мимо грузчика, который отвёл глаза, мимо женщины с ребёнком, которая вдруг перекрестилась, увидев меня. Я чувствовал, как меня видят. Как чувствуют. Как боятся. Я был не просто чекистом. Я был призраком. Тем, кто приходит за теми, кого уже нет.

Платформа 9 была оцеплена. Четыре солдата в форме НКВД, автоматы наизготовку, лица — как маски. У вагона стоял капитан, в очках, с портфелем в руке. Он кивнул мне:

— Мельников?

— Так точно.

— Вот ваши документы. Приказ №00—41/С. Разрешение на сопровождение груза особой важности.

Я взял папку. Внутри — листы с печатями, подписями, штампами. Всё подлинное. Всё настоящее. Но что-то в бумагах было неправильно. Что-то — не то. Пахло формалином. И не только от бумаг.

— В вагоне вас ждёт врач. Он — ваш напарник. Его зовут доктор Костяев. Он знает больше, чем вы. Но не всё. Он — патологоанатом. Работал в Мавзолее. Больше в вагоне никого. Поезд идёт до Тюмени. Без остановок. Без связи. Только в случае ЧП — радиосвязь с Москвой. Антенна — на крыше. Шифр — «Ленин-1». Поняли?

— Так точно.

— Не задавайте лишних вопросов. Не смотрите внутрь саркофага. Не трогайте его. Не разговаривайте с ним. Если что-то почувствуете — доложите. Если что-то увидите — закройте глаза. Если услышите — заткните уши. И запомните: этот поезд — не поезд. Это — ковчег. И в нём — не тело, а символ. А символы, Мельников, бывают живыми.

Я вошёл в вагон.

Воздух был густым, как сироп. Холодный, но с привкусом чего-то сладковато-гнилого. Вагон был переоборудован: стены обшиты свинцом — толстыми листами, как в рентгеновском кабинете, чтобы экранировать излучение, будь то радиация или что-то иное, не поддающееся измерению. Пол — резиновый, чтобы не проводить ток, потолок — с лампами дневного света, горящими без перерыва, потому что, как я потом узнал, тьма — это благоприятная среда для пробуждения. В центре — саркофаг. Не тот, что в Мавзолее, а другой — металлический, герметичный, с манометрами, термометрами, с кранами для подкачки газа. На крышке — сургучная печать НКВД и номер: «001/Л».

У саркофага сидел человек в белом халате. Лет сорока, седеющие виски, глаза — серые, как дождь. Он не встал. Только посмотрел на меня и сказал:

— Ну, прибыл... охранник. Значит, поезд может отправляться.

— Доктор Костяев?

— Он самый. Только не называйте меня так громко. Здесь у меня другая фамилия. В документах — Козлов. Для всех — просто врач.

— Что с ним? — я кивнул на саркофаг, уже понимая, что внутри — Ленин, но не зная, в каком состоянии он находится.

— С ним? — повторил доктор, не отрывая взгляда от саркофага. — С ним — всё как всегда. Он... в сохранности. Но неспокоен. Особенно в движении. Вибрация, перемена давления — всё это влияет. Иногда... проявляется активность.

— Какая активность?

— Двигательная. Рефлекторная. Как у трупа, в котором сохранились нервные узлы. Но это не он. Это — химия. Газы. Расширение тканей. Обычная наука.

Я не поверил. В его голосе была ложь — не грубая, а тонкая, как шёлк, который кажется прочным, но рвётся от дуновения.

— А стук? — спросил я. — Я слышал, он стучит.

— Стучит, — сказал доктор, закрывая книгу. — С 1936 года. Сначала редко. Потом чаще. Теперь — каждую ночь. Три коротких, три длинных, три коротких. SOS. Как будто просит о помощи. Но помощи от кого? От нас? Или от кого-то ещё?

— От кого?

— Не знаю. Может, от времени. От памяти. От совести. А может... от тех, кто верит в него. Ведь миллионы до сих пор молятся ему, как святому. Ставят свечи. Говорят с ним. Просят совета. И, может быть, он слышит.

Я сел на лавку, не сводя глаз с саркофага. Металл был матовым, с едва заметными потёками конденсата. На термометре — минус 5,2 градуса. Манометр показывал стабильное давление — 1,03 атмосферы. Но что-то в этом спокойствии было обманчивым, как улыбка мертвеца.

— Почему его везут в Тюмень? — спросил я.

— Потому что Москва, возможно, падёт, — сказал доктор. — И если она падёт, он не должен попасть в руки немцев. Гиммлер мечтает привезти его в Берлин. Поставить в Пантеоне. Но не как трофей. Не как пленника. А как мессию.

— Как это? — не понял я. — Он же враг фашизма.

— Для Сталина — да. Для Гитлера — да, но лишь в политическом смысле. Но для Гиммлера — нет. Гиммлер — не просто глава СС. Он — оккультист. Он верит в древние силы, в руны, в рейх, который будет существовать тысячу лет. И он верит, что великие идеи — как вирусы — могут передаваться через тела. Что символы — могут быть оживлены. Что мессия — может быть воссоздан.

Он замолчал, будто проверяя, понимаю ли я.

— Гитлер ненавидит большевизм, — продолжил он. — Но Гиммлер видит в нём не просто идеологию, а силу. И силу можно не уничтожать — её можно обратить. Представьте: Гиммлер привозит тело Ленина в Берлин, ставит его в новом Пантеоне, рядом с Генрихом Птицеловом, с мифическими героями германской расы, и говорит: «Вот он — великий революционер, который разрушил старый мир. Но он был обманут евреями. Сталин, Троцкий, Зиновьев — все они исказили его учение. Мы же — истинные наследники Ленина. Мы продолжаем его борьбу против мирового капитала». И тогда часть народа, часть армии, часть партии может задуматься: а может, это правда? А может, мы ошибались? А может, враг — не Германия, а Сталин, который предал Ленина?

Я сидел, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Не от холода. От смысла. От понимания: мы везём не просто тело. Мы везём бомбу. Бомбу с часовым механизмом. И этот механизм — уже тикает.

— А если он проснётся? — спросил я.

— Тогда, — сказал доктор, — мы все умрём. Потому что он не простит.

Я не спал всю ночь. Сидел у окна, смотрел на мелькающие огни, на тени лесов, на редкие деревни, мелькающие в темноте, как призраки. Поезд шёл на восток. К Уралу. К Сибири. К бункеру под Тюменью, вырытому на глубине более ста метров в скальной породе, с системой фильтрации воздуха, с бетонными перекрытиями, с дверью из титанового сплава. Там его положат. Там его спрячут. Там его забудут.

Но я знал: его нельзя забыть.

К полуночи я вдруг услышал стук.

Тихий. Как скрип. Как будто кто-то провёл ногтем по стеклу. Я обернулся. Саркофаг стоял на месте. Манометры — в норме. Температура — минус 5. Герметичность — 100%. Но звук повторился. Изнутри. Как будто кто-то постучал изнутри по стенке.

— Слышали? — спросил я доктора.

Он не спал. Сидел, читал книгу. «Патология тканей», 1938 год.

— Слышал, — сказал он, не отрываясь от страницы. — Это он. SOS. Как каждый раз. Не бойтесь. Это — сигнал. Не от тела. От памяти. От идеи. Идея не умирает. Она ждёт.

На рассвете поезд остановился. Не по расписанию. Без причины. На пустой станции. Название — неизвестно. Лес по обе стороны. Туман, густой, как вата, окутывал рельсы, будто сама земля пыталась скрыть этот состав от глаз. Солдаты вышли, проверили полотно. Ничего. Вернулись. Доктор встал, подошёл к саркофагу, проверил манометры.

— Давление упало, — сказал он. — На 0,3 атмосферы. Это... ненормально.

— Что делать?

— Надо подкачать газ. У нас есть баллоны. Но... нужно открыть клапан. На три секунды. Не больше.

— А если он...

— Если он пошевелится — мы закроем. Но если не подкачать — давление упадёт, и тогда начнётся разложение. А разложение — это начало конца. Потому что, как только ткани начнут распадаться, он почувствует. И проснётся.

Он достал ключ. Металлический. С биркой «№001/Л». Подошёл к саркофагу. Я стоял с пистолетом наготове, палец на курке, дыхание — ровное, как у стрелка перед выстрелом.

— Готов?

— Готов, — сказал я.

Он повернул ключ. Щелчок. Слышен шипящий звук. Газ пошёл. Доктор смотрит на манометр. Вдруг — удар изнутри. Сильный. Как будто кто-то пнул стенку ногой. Саркофаг дрогнул.

— Быстрее! — кричу я.

— Ещё секунда... — он не отводит глаз от шкалы.

Удар. Сильнее. Крышка сдвинулась на миллиметр. Из щели — белый пар. И запах. Не формалин. Не аммиак. Что-то сладкое. Гнилое. Как цветы на могиле, пропитанные мёдом и тлением.

— Закрывай! — кричу я.

Он захлопывает клапан. Запирает. Отступает. Дышит тяжело.

— Получилось?

— Да... вроде...

В этот момент лампы погасли. Вагон погрузился во тьму. Только лунный свет из окон. И тишина. Полная. Как в могиле.

Потом — звук. Из саркофага. Голос.

Низкий. Хриплый. Как будто ржавые ножницы режут кожу.

— *Товарищи...*

Я замер как вкопанный, пистолет в руке, но не поднял его — будто боялся, что движение спровоцирует ответ.

— *Вы... забыли... революцию...*

Доктор встал. Медленно, как человек, который знает: он слышал, он видел, и отрицать это — значит сойти с ума. Он подошёл к саркофагу, не отводя взгляда, и прошептал, будто обращаясь к самому себе:

— Он знает. Он помнит всё. И он не простил.

Голос продолжал, медленно, с паузами, будто каждое слово выдавливалось из глубины, где нет воздуха, где нет времени, где нет смерти:

— *Но я... помню... Я... вернусь...*

И вдруг — смех. Не человеческий. Металлический. Эхом, как будто его умножили на тысячу, отразили в стенах вагона, в рельсах, в земле под колёсами, в облаках над лесом — смех, в котором не было радости, а была только холодная, безжалостная правда истории, правда железа, правда крови, правда того, что революция не умирает, она лишь засыпает, чтобы проснуться в самый неожиданный момент.

Лампы вспыхнули. Саркофаг — на месте. Крышка — заперта. Манометры — в норме. Температура — минус 5,2. Герметичность — 100%. Ничего не изменилось. Только воздух стал тяжелее, словно перед грозой.

— Вы слышали? — спросил я, хотя и так знал ответ.

— Да, — сказал он. — Слышал. И видел. И чувствовал. Но говорить об этом нельзя. Потому что если мы признаем, что он жив, значит, мы признаем, что всё, что мы сделали с 1924 года, — ложь. Что революция умерла, а её тень продолжает ходить по земле. Что мы не хранители, а тюремщики. Что мы не спасаем символ — мы держим в заточении призрака, который однажды встанет и спросит: *за что?*

Я не ответил. Я просто кивнул.

И когда я кивнул, вагон уже не казался мне просто металлическим ящиком на рельсах, а стал живым существом, дышащим, слушающим, помнящим, как будто сама железная дорога была частью некоего древнего ритуала, в котором поезд — не средство передвижения, а процессия, в которой мы не охранники, а жрецы, везущие бога в изгнание, и каждый стук колёс это не случайность, а шаг по священному лабиринту, ведущему не к Тюмени, а к судьбе, которую никто не мог предсказать, потому что она уже была записана в нервах мумии, в бинтах, пропитанных химикатами, в голосе, который вышел из тьмы не как крик, а как приговор, как обещание, как начало конца эпохи, в которой мы думали, что контролируем прошлое, но прошлое, оказывается, ждало своего часа, чтобы встать и сказать: *«Я помню всё — и я вернулся»*.

Поезд ехал дальше. На восток. К Тюмени. К бункеру. К концу пути.

Но я знал: это не конец. Это — начало.

Потому что Ленин был не мёртв.

Он был в пути. И он помнил всё.

* * *

С тех пор как в вагоне раздался голос, воздух стал плотнее, как будто его налили доверху, оставив место лишь для дыхания, но не для мыслей, потому что мысли требуют пространства, а здесь его не было — только тяжесть, как после бомбёжки, когда стены стоят, но в них уже нет жизни, лишь пыль и эхо взрывов. Поезд шёл, как и прежде, без остановок, по расписанию, составленному не людьми, а машиной, в которой не было места сомнению, сбою, сожалению, — он двигался, как будто сам был частью некоего ритуала, в котором мы, его пассажиры, были не наблюдателями, а участниками, жертвами, обречёнными на выполнение роли до самого конца, даже если не знаем, в чём этот конец состоит.

Я сидел у окна, не смыкая глаз, потому что сон теперь казался предательством — предательством бдительности, долга, самого себя, ведь во сне можно увидеть то, что не должно быть увидено, можно услышать то, что не должно быть услышано, можно ответить на вопрос, который никто не задавал, но который висит в воздухе, как запах формалина, как смех из саркофага, как три коротких, три длинных, три коротких удара, которые больше не были сигналом бедствия, а стали призывом, приказом, началом чего-то, что нельзя было назвать, потому что слово — это уже признание, а признание — это начало падения.

Доктор Костяев больше не читал. Он сидел, не шевелясь, спиной к саркофагу, как будто, глядя на него, можно было подхватить заразу — не телесную, не вирусную, а идеологическую, ту, что передаётся через взгляд, через прикосновение, через слух и превращает человека из

хранителя в слугу, из охранника — в последователя. Его руки лежали на коленях, пальцы сжаты, как будто он держал что-то невидимое, что-то хрупкое, что нельзя ронять, но что уже треснуло по швам. Лицо его было бледным, не от страха, а от усталости — усталости человека, который слишком долго жил в двух мирах: в мире живых и в мире мумифицированных, в мире бумаг и приказов и в мире, где бумаги горят от прикосновения, а приказы исходят не сверху, а изнутри саркофага.

— Он знает, что мы его везём, — сказал я, не глядя на него, глядя в окно, где мелькали тени лесов, будто сама земля отступала перед чем-то, что двигалось по рельсам.

— Конечно, — ответил доктор, не поворачивая головы. — Он знал с самого начала. С 1924 года. С того момента, как его закрыли в Мавзолее. Он не спал. Он наблюдал. Он слушал. Он помнит. Каждого из нас, кто приходил к нему, кто прикасался к его телу, кто менял растворы, кто записывал показания приборов — он помнит всех. По голосу. По запаху. По дыханию. Он знает, кто предал, кто молчал, кто улыбался, стоя у саркофага, и думал о повышении. Он знает всё. И теперь он возвращается не к власти — он возвращается к правде.

Поезд приближался к Уралу. За окном уже мелькали не подмосковные леса, не поля, не деревни, а тайга, густая, чёрная, как смола, с редкими просеками, где торчали обгоревшие пни, будто кто-то пытался выжечь саму землю, но не смог. Температура упала до минус семи. В вагоне — минус пять, как и положено. Манометры — в норме. Но что-то было не так. Что-то — в тишине.

Потому что тишина — это не отсутствие звука. Это — напряжение. Это — ожидание. Это — момент перед ударом, когда всё замирает, чтобы потом рвануть с удвоенной силой.

* * *

В 11:17 по московскому времени поезд плавно остановился на станции Камышлов.

Не по графику и не по расписанию. Никакой станции в эвакуационном маршруте не значилось. Но поезд встал. Без объявления. Без свистка. Без причины. Просто — остановился. Колёса замерли. Вагон затих, как будто кто-то невидимый сказал: «Остановись».

Я вскочил. Доктор медленно поднялся, как будто каждый сустав его тела сопротивлялся движению, как будто он знал: то, что происходит, не подвластно оружию, не подвластно приказам, не подвластно даже логике.

— Что случилось? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он. — Но он... проснулся.

Солдаты вышли. Через минуту один вернулся, бледный, с автоматом, дрожащим в руках.

— Товарищ старший лейтенант... — начал он.

— Говори.

— На платформе... люди. Стоят. Смотрят сюда. Все... на нас.

Я вышел.

Туман стелился по земле, как дым после пожара, медленно, липко, оставляя на коже ощущение сырости и холода. Платформа была старая, из гнилых досок, с провалами между ними, с ржавыми крюками, торчащими как когти. На ней стояли люди. Человек тридцать, может, сорок. Мужчины в телогрейках, женщины в платках, старики с палками, молодые парни с глазами, в которых не было ни страха, ни любопытства, а было что-то иное — *узнавание*. Они не кричали. Не махали. Не двигались. Просто стояли. И смотрели на наш вагон, как на точку притяжения, как на нечто, что они чувствовали кожей, как давление в ушах перед грозой, как запах озона перед молнией. Они, словно бы, смотрели сквозь стены и чувствовали *присутствие*.

И вдруг — один опустился на колени. Не резко. Медленно, как будто его тянуло вниз не его собственное тело, а что-то извне. Потом второй. Потом ещё трое. Потом десять. Потом — все остальные. Не потому что кто-то приказал. Не потому что кто-то крикнул. А потому что

воздух изменился. Стал плотнее. Холоднее. Тяжелее. Как будто сама атмосфера превратилась в молитву, в которую каждый, кто стоял на платформе, был вынужден включиться, словно невидимая сила, не подвластная воле, требовала преклонения не перед богом, не перед царём, а перед тем, кто был предан, убит не пулей, а ложью, искажением, превращением революции в империю.

Я почувствовал, как по спине бежит холод. Не от страха. От узнавания. Эти люди — не диверсанты. Не агенты. Это — народ. Настоящий. Тот, что не верит в Сталина. Тот, что помнит. И он, в саркофаге, чувствует их. Он *касается* их, как тень касается земли, как эхо касается стены, как мысль касается сознания — не физически, но *глубоко*, на уровне, где нет времени, где нет лжи, где есть только память.

— Уходите, — сказал я солдатам. — В вагон. Закройте двери.

Они повиновались. Я последним вошёл внутрь. Когда дверь захлопнулась, доктор стоял у саркофага. Он не смотрел на меня. Он смотрел на термометр. Температура — минус 4,3. Давление — 0,96. Герметичность — 97%. Саркофаг покрылся инеем. На металле — трещины, как будто внутри что-то давило, пыталось выйти.

Я подошёл к нему. Он не обернулся. Только сказал, не поворачивая головы:

— Вы видели?

— Видел, — ответил я. — Но не понял.

— Люди чувствуют символ, — сказал он сухо, как констатацию. — Особенно в тяжёлые времена. Слухи ходят. О поезде. О грузе. Люди верят в то, что даёт им надежду.

— Это не слухи. Они *знали*, что он здесь.

— А может, и знали, — ответил он, пожав плечами. — В народе многое передаётся. Через стариков. Через письма. Через страх.

— Почему поезд остановился?

— Не знаю, — сказал он, наконец обернувшись. — Может, машинист увидел людей. Может, поломка. Может, просто... совпадение.

— Это не совпадение.

— А что тогда?

— Вы знаете.

Он молчал. Только рука его дрожала, когда он провёл пальцем по свинцовой обшивке, как будто проверял, не нагрелся ли металл. Лицо его было спокойным, но в глазах мелькнула какая-то тень. Не страх. Не радость. А *ожидание*. Как у человека, который ждёт чего-то, что нельзя назвать, но что обязательно произойдёт.

— Он не должен проснуться, — сказал я, не зная, почему произнёс это вслух.

— Проснуться? — переспросил доктор. — Он и не спит. Он сохранён. Это разные вещи.

— А если он... пошевелится?

— Тогда мы доложим. И подождём приказа.

— А если не будет времени?

— Будет, — сказал он. — Всегда есть время. Для правильного решения.

Я смотрел на него. Он говорил как чиновник. Как служащий. Как человек, который выполняет приказ. Но в его голосе, в жесте, в том, как он смотрел на саркофаг — было что-то иное. Что-то, что нельзя было назвать, но что я *чувствовал*. Он не просто охранял. Он *ждал*. И я понял: он не боится пробуждения. Он его жаждет. Но не скажет этого. Потому что если скажет — его расстреляют. А если не скажет — то останется жив, чтобы быть рядом, когда он откроет глаза.

В 17:33 пришла радиограмма. Шифр — «Ленин-1».

«Москва. Особый отдел.

Поезд №001.

При возникновении чрезвычайного происшествия — уничтожить груз.

Подпись: Берия».

Я прочитал вслух. Доктор слушал, не шевелясь.

— Он приказывает уничтожить груз в случае ЧП, — сказал я.

— Конечно, — ответил он, не поворачивая головы. — Потому что Берия боится не немцев. Он боится *его*. Он боится того, что Ленин встанет и спросит: «Зачем? Почему? Кто дал вам право исказить мою идею? Кто разрешил превращать революцию в тиранию? Где Советы? Где свобода? Где народ?». Он боится правды. А правда — это самое страшное оружие.

— А если я выполню приказ?

— Тогда ты станешь убийцей символа. А убийца символа — проклят. Потому что символы не умирают. Они возвращаются. В других телах. В других голосах. В других революциях.

Я положил радиограмму на стол. Рука дрожала. Не от страха. От осознания: я стою на границе. Не между Москвой и Тюменью. А между верой и страхом. Между долгом и правдой. Между тем, что приказано, и тем, что правильно.

В 04:55 я услышал шорох.

Не стук. Не голос. Шорох. Как будто бинты разматываются. Медленно. По одному. Я подошёл. Приложил ухо к металлу. Холод обжёг кожу. И тогда я услышал — *дыхание*.

Живое. Ровное. Глубокое. Как у спящего человека, который не умер, а просто отдыхает, собираясь с силами перед пробуждением. Оно шло изнутри, как будто в саркофаге находилась не мумия, а тело, в котором всё ещё бьётся сердце, в котором всё ещё движется кровь, в котором всё ещё работает мозг, помнящий каждый день с 1924 года, каждое предательство, каждый лозунг, искажённый в приказ, каждый арест, каждый расстрел, каждое лицемерие, совершенное от его имени.

Я отшатнулся. Сердце билось так, что казалось — оно вырвется из груди. В голове — шум, как от бурлящей воды. Я посмотрел на доктора. Он стоял, не шевелясь, с закрытыми глазами, как будто *слушал*. Как будто это дыхание было для него — молитвой.

— Он просыпается, — сказал он тихо, без пафоса, как констатацию факта. — И когда он откроет глаза, мы все поймём: революция не закончилась. Она только начинается.

Я встал. Поднял пистолет. Но не на саркофаг. На доктора.

— Если ты попробуешь открыть его, — сказал я, — я застрелю тебя. Потому что ты — не хранитель. Ты — слуга. Ты — тот, кто хочет пробудить его.

Он не испугался. Он только улыбнулся. Так же, как те люди на платформе.

— Стреляй, — сказал он. — Но знай: даже если ты убьёшь меня, ты не остановишь его. Потому что он уже не в саркофаге. Он — в воздухе. Он — в словах. Он — в тех, кто верит. Он — в нас.

И в этот момент лампы погасли. Ровно на семь секунд.

Тьма была абсолютной. Ни звёзд, ни луны, ни света с улицы. Только тьма, плотная, как вода, в которой невозможно дышать. Я стоял, не двигаясь, пистолет в руке, палец на курке, сердце стучало как молот. И в этой тьме я услышал стук.

Один. Два. Три.

Из саркофага.

Чёткий. Металлический. Как будто кто-то постучал изнутри костяшками пальцев.

Когда свет вернулся, я увидел: саркофаг не открыт. Крышка на месте. Но на металле — отпечаток руки, как будто кто-то провёл ладонью изнутри, оставив след на инее, как на стекле.

А изнутри раздался голос, тихий, как шёпот, но такой, что дрожали рельсы:

— Я помню... всех...

* * *

С тех пор как поезд остановился на станции Камышлов и я увидел, как люди, не зная, что именно находится в вагоне, опускались на колени, как будто чувствовали не тело, а *присутствие*, я понял, что доктор Костяев, несмотря на свою внешнюю сдержанность, внутренне не просто охраняет груз, а *служит* ему, и что его лояльность относится не к государству, не к приказу, не к НКВД, а чему-то иному — чему-то, что на деле близко к поклонению. Он не говорил об этом прямо, не произносил фраз вроде «он должен вернуться» — он лишь отмечал в блокноте показания приборов, говорил о «возможном сбое в системе», о «нестабильности давления», о «рефлекторных движениях тканей», но делал это с такой интонацией, с таким вниманием к деталям, с такой затаённой надеждой в глазах, что я, чекист, привыкший читать людей по жесту, по дыханию, по взгляду, понял: он ждёт. Он ждёт пробуждения. И чем ближе мы к Уралу, тем сильнее становится его уверенность, что всё, что было построено после 1924 года, — искажение, что революция умерла, а теперь возвращается к своему истоку, к тому, кто был её отцом, но кого предали.

Я не спал. Я сидел у окна, пистолет на коленях, рука на кобуре, глаза — на саркофаг. За окном — тайга, бесконечная, чёрная, как смола, с деревьями, стоящими как часовые, с ветвями, протянутыми, будто в мольбе или угрозе. В вагоне стояла тишина, нарушаемая только тиканьем часов, шипением манометра, редким скрипом рельсов. Но я чувствовал: тишина — это не покой. Это напряжение, как перед взрывом.

К полудню давление упало до 0,87 атмосферы. Температура — минус 3,1. Герметичность — 90%. На поверхности саркофага иней был уже не равномерный, а концентрический, как будто внутри что-то вращается, как будто тело медленно поворачивается, не нарушая целостности бинтов, не разрушая конструкции, но *пробуждаясь*.

— Что происходит? — спросил я.

— Не знаю, — ответил доктор, не отрывая взгляда от блокнота. — Возможно, нарушение герметичности. Или сбой в системе подкачки. Нужно проверить клапан.

— Не подходите к нему.

— Я не подойду, — сказал он. — Не сейчас.

— Приказ — уничтожить груз, если начнётся угроза.

— А угроза — это не падение давления. Угроза — это *открытие*. А пока его нет.

— А если оно начнётся?

— Тогда мы выполним приказ.

Он сказал это спокойно. Без эмоций. Как будто обсуждал эвакуацию архивов. Но в его голосе была пауза — слишком длинная, перед словом «выполним» — и в этой паузе я услышал: он не хочет этого делать.

Я сидел, ощущая, как по спине, будто тонкая игла, проползает холод, не от страха, а от понимания, что всё, что я считал приказом, долгом, охраной, на самом деле было лишь временной паузой в изначальном ходе событий, что этот поезд — не эвакуация, а *возвращение*, что саркофаг — не тюремная камера, а *колыбель*, и что доктор, с его сухими фразами и ровным голосом, был не хранителем, а *помощником*, ждущим момента, когда я отвлекусь, когда ослаблю бдительность, когда поверю, что всё под контролем.

И этот момент настал, когда я, проверяя манометр у противоположной стены, отвернулся, чтобы свериться с таблицей нормативов, прикреплённой к свинцовой обшивке, и в эту самую секунду услышал за спиной скрежет металла — тихий, но отчётливый, как будто кто-то провёл ключом по замку, не по часовой стрелке, а против.

Обернулся — и увидел: доктор Костяев стоит у саркофага, одной рукой приподнимает крышку, а другой — снимает с клапана сургучную печать, пальцы его дрожат, но движение чёткое, как у хирурга, как у жреца, совершающего обряд, который он репетировал в мыслях семнадцать лет.

— Стой! — крикнул я, хватая пистолет.

Он не обернулся. Только сказал, не отрываясь от клапана:

— Он должен выйти. Он не должен быть заперт.

Я бросился к нему, но он уже повернул ключ, и саркофаг с тихим шипением начал открываться, а из щели повалил белый пар, насыщенный запахом формалина, глицерина и чего-то ещё — сладковато-гнилого, как цветы на старой могиле, и в этом пару, как в тумане, я увидел — *движение*.

Внутри что-то шевелилось.

Не бинты. Не ткань. *А рука*.

Я замер, как будто время остановилось, как будто сама железная дорога, сам вагон, сам воздух в нём перестали быть средой, в которой я существую, и превратились в часть некоего ритуала, в котором я не наблюдатель, а участник, не охранник, а свидетель, не исполнитель приказа, а человек, стоящий на границе между тем, что можно объяснить, и тем, что должно быть уничтожено, потому что не поддаётся контролю, и в этой неподвижности, в этом мгновении, когда каждый нерв моего тела был натянут как струна, я увидел, как пальцы, высохшие, покрытые сетью трещин, как у древней бумаги, выдержавшей семнадцать зим, медленно, с усилием, преодолевая сопротивление времени и химии, сжатые в кулак с 1924 года, разжались и ладонь, бледная, с синеватыми прожилками, легла на край саркофага, как будто ища опору, как будто тело, замороженное в растворах, сохранённое в бинтах, пропитанных глицерином и формалином, вдруг вспомнило, что оно — не просто мумия, а нечто большее, что оно — не мёртвое, а находится между жизнью и смертью, между памятью и возрождением, и теперь, когда крышка была открыта, оно начало возвращаться, не с криком, не с рывком, а с хрустом позвонков, с шелестом бинтов, с тихим, глубоким вдохом, который раздался изнутри, как будто после долгого сна человек впервые втянул в лёгкие воздух, и этот звук, негромкий, но осязаемый, как вибрация в костях, заставил меня понять, что я больше не смотрю на тело — я смотрю на *пробуждение*.

В этот момент доктор, с лицом, искажённым восторгом, как у человека, который видит исполнение мечты, прошептал, не отрывая взгляда от саркофага:

— Он возвращается...

И в его голосе не было страха, не было сомнения — только уверенность, как у пророка, который наконец-то дождался конца времён.

Я не стал размышлять. Бросился на него, сбил с ног, прижал к полу всей тяжестью тела, почувствовал, как его голова ударяется о свинцовую обшивку с глухим, тупым звуком, почувствовал, как он бьётся, как рвётся, как пытается вырваться, не из страха смерти, а из страха, что я успею закрыть саркофаг раньше, чем Ленин сможет встать, и в этой борьбе, в этом сцеплении тел, в этом хрипе, в этом поте, в этой крови я понял: он не просто сошёл с ума — он *верит*, и вера эта сильнее страха, сильнее приказа, сильнее жизни.

Я схватил пистолет, вырвал его из кобуры, прижал дуло к виску и, не отводя взгляда от саркофага, где рука уже поднялась выше, где из тумана проступило лицо — бледное, с запавшими глазами, с губами, чуть приоткрытыми, как будто готовыми произнести первое слово после семнадцати лет молчания, — нажал на курок.

Выстрел прозвучал как удар по металлу, эхо отразилось от стен, от потолка, от свинцовых листов, и доктор обмяк, его тело обвисло, глаза остались открыты, смотрели в потолок, как будто видели не бетон и лампы, а что-то иное, что-то далёкое, что-то, что я не мог увидеть, но чувствовал.

Оттолкнув тело, я бросился к саркофагу, увидел, что крышка открыта уже наполовину, что пар валит гуще и тело, закованное в бинты, медленно приподнимается. Охваченный ужасом, не столько перед тем, что происходило, сколько перед тем, что могло произойти, если он выйдет, если заговорит, если посмотрит на меня, я навалился на крышку всем телом, почувствовал, как она сопротивляется, как будто сила, хранившая это тело семнадцать лет, теперь

боролась за право выйти, но я, изо всех сил, с криком, с разрывом в мышцах, с кровью, сочащейся из ладоней от трения о металл, захлопнул крышку, вставил ключ, закрутил до упора, услышал щелчок герметичного замка, шипение выходящего газа, и через мгновение пар исчез, тишина вернулась, как будто ничего и не было, словно это был лишь сон.

В этот момент, когда тишина снова воцарилась в вагоне, нарушаемая только тиканьем часов и шипением манометра, я, глядя на открытые глаза доктора, на застывшее выражение его лица, не испытывал ни жалости, ни сожаления, ни сомнения — я знал, что поступил правильно, что я остановил попытку диверсии, что я выполнил свой долг, что я защитил не просто тело, а символ, на котором держалась вся идеологическая основа государства, и если бы я допустил, чтобы саркофаг был вскрыт, если бы я позволил доктору завершить начатое, последствия могли бы быть непредсказуемыми, ибо Ленин был не просто мумией — он был *основой, началом*, и любое повреждение его тела, любое искажение его образа могло быть использовано врагами как оружие против партии, против товарища Сталина, и я, как чекист, как человек, присягнувший на верность государству, не имел права колебаться.

И в тот самый момент, когда я, сидя у стены, пытался восстановить дыхание, в вагон с грохотом ворвались солдаты из соседнего вагона — с автоматами наизготовку.

— Что случилось? — крикнул старший, оглядывая вагон, взгляд его упал на тело доктора, на саркофаг, на меня.

Я встал, медленно, как будто каждый сустав сопротивлялся движению, вытер пот со лба рукавом, подошёл к нему и, не повышая голоса, сказал:

— Доктор Костяев пытался вскрыть саркофаг. Повредить тело. Я застал его на месте преступления. Он, видимо, был завербован. Возможно, немцами. Возможно, ещё до войны. Он хотел навредить Ленину.

— Проверьте саркофаг, — добавил я. — Тело в целости, но система повреждена. Нарушен клапан. И нужен новый сопровождающий, который сможет поддерживать саркофаг в нормальном состоянии. До Тюмени осталось менее суток, но без компетентного контроля возможна утечка газа, разгерметизация, начало разложения — и тогда последствия будут непредсказуемыми.

Солдаты молча оглядели вагон, их взгляды скользили по саркофагу, по пятнам крови на полу, по сдвинутым ящикам, по разбитому термометру, по следам борьбы, и один из них, старший, кивнул — не в ответ, а как сигнал: *поняли, действуем*. Двое подошли к телу доктора Костяева, аккуратно, без спешки, положили его на носилки, покрытые брезентом, и унесли в соседний вагон, где, как я позже узнал, уже находился доктор-дублёр, заранее размещённый в составе поезда на случай ЧП, о чём мне никто не сообщил, и я, стоя у саркофага, не знал, что моя миссия фактически завершена, что моё присутствие больше не требуется, что всё, что я сделал, теперь будет анализироваться в Москве, а не здесь, в вагоне, где пахло кровью, формалином и чем-то древним, что не поддавалось определению.

Через десять минут в вагон вошёл мужчина в белом халате, с кожаным портфелем в руке, с короткой стрижкой, с очками в тонкой оправе, и, не здороваясь, подошёл к саркофагу, проверил клапан, измерил давление, температуру, герметичность, записал показания в блокнот и только потом, повернувшись ко мне, сказал:

— Система повреждена. Но тело в сохранности. Вы действовали правильно.

Я кивнул, как человек, который выполнил приказ и ждёт дальнейших указаний.

* * *

Через двенадцать часов поезд вошёл в тоннель, ведущий к бункеру под Тюменью, вагон остановился в подземном зале, освещённом тусклыми лампами, где уже ждала команда —

военные, инженеры, и среди них — ещё один доктор, который стоял с видом человека, которому доверяют не просто работу, а *секрет*.

Саркофаг выгружали в полной тишине.

Его сняли с креплений, подвесили на тельфер, медленно, сантиметр за сантиметром, опустили на платформу, обитую войлоком, чтобы не было вибрации, не было тряски, не было шума, и только тогда, когда он оказался на земле, разрешили включить дополнительный свет в зале — не яркий, а приглушённый, тусклый, как в хранилище особо ценных архивов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.